

Леонид ШУР

Не последний император



роман — лауреат



Леонид ШУР

Не последний император

<https://litres.ru/73916654>

SelfPub; 2026

Аннотация

Юрий Тынянов начал, а я продолжил.

С Матрицей ШУРА и игрой в шашки.

Поручик Синюхаев выпивает эликсир из рук шпионки — и видит заговоры. Вместо него появится мнимый генерал по фамилии Кижэ, которому суждено решить судьбу императора Павла I и всей России.

Я попросил у ИИ честные отзывы писателей

Ф. Достоевский: «Глубинная психодрама, где героя стирают в порошок, откуда возникает монстр по имени Система. Где кончается твоя воля и начинается приказ, которого никто не отдавал?».

Дж. Оруэлл: «Бюрократия — не механизм, а хищный организм, пожирающий души».

М. Булгаков: «Магия, абсурд и чёрный кот, который больше, чем простое животное. Берите, если устали от скуки и готовы к безумию в Питере».

Мадам де Сталь: «Власть здесь — холодная шашка в руке того, кто решил, что имеет право бить. Самая пронзительная сцена

— не убийство императора, а момент, когда человек отдаёт своё лицо в обмен на призрачный мундир».

Продолжение следует...

Содержание

Глава	5
ВСТУПЛЕНИЕ	7
ПРОЛОГ	9
ПРЕДИСЛОВИЕ	19
ГЛАВА 1. ОДИН ДОМА	24
ГЛАВА 2. МАДАМ ЖЕРЕБЦОФФ и СУНДУКОВА	45
ГЛАВА 3. СНЫ СИНЮХАЕВА О ДАМКАХ И ГОСПОДАХ	61
ГЛАВА 4. ЧЕТЫРЕ ПОРУЧИКА И НЕ ТОЛЬКО	79
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Леонид ШУР

Не последний император

Глава

Оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРОЛОГ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ОДИН ДОМА

ГЛАВА 2. МАДАМ ЖЕРЕБЦОФФ и СУНДУКОВА

ГЛАВА 3. СНЫ СИНЮХАЕВА О ДАМКАХ И ГОСПО-

ДАХ

ГЛАВА 4. ЧЕТЫРЕ ПОРУЧИКА И НЕ ТОЛЬКО

ГЛАВА 5. ТЮРЬМА

ГЛАВА 6. ГОЛИЦЫН

ГЛАВА 7. ВТОРАЯ ТЮРЬМА

ГЛАВА 8. СВИДАНИЕ С СУНДУКОВОЙ

ГЛАВА 9. АРАКЧЕЕВ

ГЛАВА 10. ПЛАТОН

ГЛАВА 11. ЭМАНУЭЛЬ

ГЛАВА 12. НЕ ПРОСТО МАРИЯ

ГЛАВА 13. ПАПА ДОМА

ГЛАВА 14. НОВЫЙ ГЕНЕРАЛ КИЖЕ

ГЛАВА 15. РЖЕВСКИЙ

ГЛАВА 16. ДЕРЖАВИН

ГЛАВА 17. АРЕСТ АРАКЧЕЕВА

ГЛАВА 18. НЕЛИДОВА — ЖЕНА КИЖЕ

ГЛАВА 19. ЗАГОВОРЩИКИ

ГЛАВА 20. ВТОРОЕ СВИДАНИЕ С СУНДУКОВОЙ

ГЛАВА 21. ПАВЕЛ ПОСЛЕДНИЙ

ГЛАВА 22. ПЁТР НЕБЕСНЫЙ

ГЛАВА 23. АРЕСТ ШЕВАЛЬЕ

ГЛАВА 24. ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭПИЛОГ

25-й КАДР

ПОСЛЕСЛОВИЕ

СПРАВКА

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Петербург, 1800. Зима, но даже лёд тронулся.

Император Павел I, напуганный до безумия, указами доводит до кипения гвардию и двор. В воздухе пахнет порохом и предательством.

В игру на выживание втянут никчёмный поручик Синюхаев — поэт, должник, невидимка. Получив от загадочной фрейлины эликсир, стирающий грань между сном и явью, он обнаруживает, что кошмары становятся единственной реальностью.

Он видит то, чего не должен: заговоры, тайные ходы и предстоящее убийство императора.

Личность Синюхаева начинает растворяться, уступая место призраку — капитану Кижю, человеку, которого никогда не было.

Будущий генерал — идеал для системы, которая сама же его и породила.

Но что страшнее: быть стёртым из истории или стать оружием в чужих руках?

Не ищи здесь исторической правды.

Это путешествие по тёмным закоулкам одной души, запертой в империи.

Каждый выбор — ход на доске в дамки или повод стать

сбитой шашкой.

За человеком наблюдает жёлтый глаз кота.

На кон поставлена душа.

РОМАН

лауреат международного литературного конкурса

«Золотое перо Руси-2025» в номинации «Историче-

ское наследие»

Рекомендуемый возраст: 16+ (жестокие сцены, сложные моральные дилеммы, темы подавления личности)

Для подготовленной аудитории, ценящей сложные тексты, над которыми нужно думать.

Время чтения: до 14 часов

☆☆ Жанр: СКАЗКА историческая, драматическая, философская, приключенческая, фантазийная, сатирическая, интеллектуальная и т.д.

ПРОЛОГ

Уже не нужна дуэль.
Спокойствие разума – цель.
Прекрасное – жизни суть.
Покинул корабль мель,
Прозрачен дальнейший путь.

Давать – значит получать,
Начнём же дружить с утра!
Да здравствует благодать
Бесчисленного добра!

Прими мир таким, как есть.
Не бойся и не пугай.
Отвергни и лесть и месть.
Прощение – это рай!

Не требуй и не суди,
Минувшее не вини.
Мир перед тобой – иди
И счастьем наполни дни!

Не жалуйся и не жалей –
Имеешь ты то, что хотел.

Не спорь и смотри веселей,
Сам выбери свой удел!

Забудь про страдания и боль,
Расслабься, поверь, взлети,
Скорей улыбнись, как король,
Раскройся и засвети!

Пусть другом да будет враг,
А радость – сильней, чем грусть!
Любовь побеждает страх,
ПОКУДА Я НЕ ПРОСНУСЬ...

Эликсир обжёг горло. Сначала — медовая сладость. Потом — привкус ржавчины. Синюхаев рухнул в сон, даже не успев подумать, что этот сон — последний.

Ему приснилось убийство Бога.

Реальность истончилась, треснула. Он проваливался сквозь неё, как пьяный сквозь весенний лёд Невы, и инстинктивно схватился за шею — шарфа не было.

Он снова лёг, но видение не отпускало, вцепившись мёртвой хваткой.

11 марта 1801 года. Михайловский замок. Не резиденция, а гробница из розового мрамора, пропитанная сыростью и страхом.

Младший Пален вел за собой стаю к спальне императо-

ра. Шакальими прыжочками. Лица у него не было — только провалы в бездну вместо глаз. Сапоги не стучали по паркету — от этой тишины было страшнее, чем от любого топота. Над головой — поднятая правая рука, кисть обмотана бордовым шарфом.

За возжаком скользили не генералы, а тени с мордами чудовищных зверей.

Один — оскал клыков старшего Палена, другой — когтистые лапы Беннигсена, третий — мохнатая шея громадного Зубова. Дыхание их сбивалось в хриплый хор с перегаром водки, вина и шампанского. Они были пьяны вседозволенностью и ужасом от того, что творят. Это вело их вперёд...

Адъютант Бенкендорф и камер-гусар, увидев нападавших, застыли на мгновение и зайцами побегали в противоположную сторону коридора, давясь тихими рыданиями — не от страха, а от стыда за свою трусость.

Дверь спальни — не дверь. Пасть. Скрип — крик. Стены сжались. Запахло смесью воска, лекарств, квашеной капусты, пота и несвежего лавра.

Свечи дрожали в медных подсвечниках. На стене — рама без портрета. Пол был выложен чёрно-белой плиткой. На прикроватном столике — золотая табакерка.

Походную кровать, укрытую грубой шерстяной шинелью, лёжа караулил потёртый оловянный солдатик.

Пален старший приблизился к постели. Потрогал простыни рукой и воскликнул: «Гнездо ещё тёплое, гусь близ-

ко!». Заговорщики разбежались на четыре стороны по спальне, Беннигсен обнаружил, что за занавеской прячется Павел.

Не последний император в белой ночнушке и белом колпаке. Белый двуглавый гусь. Одна голова – в монашеском клобуке, другая – в монаршей короне. Обе раззевались беззвучно, открывая клювы. Гусь не отпрыгнул – он попытался взлететь, но бился о потолок, о резную каминную полку, как пойманный в клетку. Крылья оставляли на полу пух, на обоях повисли перья.

– Ваше Величество, подпишите отречение от монаршества... – прошепела костлявая тень Беннигсена.

Тень Палена старшего ткнула Павла толстой лапой: «Ещё четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить!».

– Что я сделал? – гагакнул гусь.

В грубой лапе тени Зубова табакерка превратилась в тяжёлый золотой череп. Удар! Ещё удар! По обоим головам гуся. Треснули две ореховые скорлупы. Из клювов фонтанами брызнули густые чернила. Синие, как из-под пера Синюхаева.

– Бей гуся, спаси Россию, – возопила тень младшего Палена.

Зверолюди тенями накинулись на то, что осталось от императора.

И бордовый шарф стал змеей. Гладкая, тяжёлая, она об-

вила шею гуся, сжалась. Он задыхался, бился, крылья хлестали, оставляя все большие синих следов на стенах, на полу, на потолке.

Гусь хрипел — не человеческим хрипом, а гоготом, в котором слышался и страх, и проклятие. В его глазах-каштанках отражались не только тени убийц. Он хотел видеть сына Александра, которому оставлял не трон, а спасённую от хаоса Россию; мать Екатерину, чью любовь тщетно ждал; и отца Петра, чью судьбу в страшном сне повторял. Но видел тень кого-то знакомого и незнакомого в дверях, призрак жены Марии и высокий скелет Петра Великого.

В дверях застыл сам Синюхаев. Парализованный. Он видел, как убивают Бога.

В последний миг, когда глаза умирающего гуся нашли его в дверях, обе головы прошептали в унисон. Эхо ударило в стены, в замок, в империю: «Кижэ!!!»

В этом крике был не только приговор, но и проклятие: «Ты видел. Теперь ты носишь это имя».

Это имя вырвалось из тишины и повисло в воздухе. Слово, сказанное умирающим богом, — закон для живых.

Синюхаев поднёс ладонь к губам и услышал собственный шёпот: «Я здесь». Во рту снова был тот самый вкус — мёд, металл, кровь. Горло перехватило, будто его самого душили. Он провёл ладонью по лицу — пальцы оставляли липкий, синий след. Чернила. Он не смотрел — он участвовал.

Но Синюхаев понял, что он — не убийца. Он — зеркало. И

в нём отразилась вся империя, уставшая от собственного безумия.

Из-за ноги навешено гуся выглянули два жёлтых глаза. Кот мурлыкнул в самом сердце кошмара.

Невыносимо хотелось проснуться. Но сон продолжался.

Дворец звенел не тишиной – звоном разбитых зеркал. Новый император Александр плакал не слезами – синими чернилами. Старший Пален посреди коридора отряхивал свой мундир от пуха и перьев. Лицо – жирная маска из самой тьмы.

– Апоплексический удар, – беспощадно приказал он. – И забудьте. Забудьте кота. Забудьте дамок. Забудьте шашки. Особенно... ту, что не была. Поручика Синюхаева. Его не было. Его не будет. Его никогда не было.

Старший Пален откланялся, щёлкнул каблуками и высокомерно удалился. Змея-шарф осталась лежать на полу, медленно растворяясь в растущей чернильной луже.

Синюхаев вырвался из лап сна, хрипя, словно из петли. Во рту был вкус железа и гусиного пера.

Сердце колотилось чижиком-пыжиком.

На полу у кровати темнели несколько капель. Не крови. Густых, синих чернил.

На подоконнике сидел чёрный кот.

Синюхаев медленно разжал пальцы. В ладони лежало сломанное гусиное перо, кончик вымочен в синих чернилах. Он

не помнил, чтобы брал перо.

Дворник за окном громко вспомнил чью-то мать и стал подметать снег.

Синюхаев споткнулся о ковёр, прыгнул к окну, отдернул штору.

Дворник исчез со своей метлой.

Только чёрный след остался на снегу, похожий на кошачью морду.

Синюхаев вцепился в раму, задохнулся морозом и понял: город уже выбрал, кого стереть первым.

Игра уже шла. Доска ждала. Его вызвали.

За окном, поверх чёрного следа на снегу, двое оборванных мальчишек бросались снежками и с визгом убегали друг от друга. Мир был прекрасен именно там.

За противоположной стеной слышались громкие голоса и звон шашек. Проезжал невидимый ночной патруль. Синюхаев инстинктивно затаил дыхание. В последнее время их стало слишком много. И смотрели они слишком пристально, выискивая в глазах прохожих не устав, а намёк на измену.

Синюхаев отступил от окна. *Показалось, что в темноте лежал синий генеральский мундир. Пуговицы тускло блеснули — не фонари, а глаза. Мундир ждал не его. Он ждал того, чьё имя только что родилось в крике императора. Того, кто станет не шашкой, а игроком. Того, кого ещё не было. Синюхаев шагнул и протянул руку.*

Неощутимая чужая ткань прилипла к пальцам, как вторая кожа. Рождение своего всегда начинается с чужого.

Синюхаев долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. И снова заснул.

Во сне поручика почти император Александр I рвал бумаги под грифом «Кижэ» из жёлтой папки с ботиночными шнурками. И бросал клочья бумаги в камин.

— С прошлым покончено, — говорил он рыдающей матери Марии. — Мы начинаем с чистого листа.

Они не видели на подоконнике спящего чёрного кота. А рядом — чёрную шапку, на которую падал луч утреннего солнца. Кот во сне перебирал лапами, будто делал ход.

Синюхаев знал: призраков не убивают огнём. Их не казнят. Их — забывают. И в этом заключался новый, неведомый ему до сих пор ужас. Потому что он, к своему собственному изумлению, уже не хотел быть забытым.

Чёрная речка. Без дна. Синюхаев падал сквозь неё. И наконец упал. И оказался на гигантской шашечной доске.

Клетки под ногами — чёрные и белые человеческие черепа. В пустых глазницах что-то шевелилось. Воздух гудел от сдавленного стога, который длился вечность.

Он смотрел на свои руки и видел чёрные, когтистые лапы. Он — кот. Чёрный, бесшумный, с горящими жёлтыми

глазами. Инстинкт велел бежать. Он бросился вперёд. Черепа хрустели и проваливались под лапами, издавая чавкающие звуки.

С невидимой высоты смотрели огромные, равнодушные глаза. Глаза Игрока. Не Павла. Не человека. Самой Системы. Её пальцы-колокола начинали двигать шашки.

С оглушительным лязгом пронеслись тени в мундирах — Голицын, Ржевский, Эмануэль. Их сбили, они исчезли с доски без вздохов.

Синюхаев хотел крикнуть, но из горла вырывалось лишь шипение.

Впереди — край доски. Конец игры. Дамка.

Но на последней клетке он сам — бледный поручик в разорванном мундире.

Он смотрел в зеркало с ужасом и надеждой.

«Кто я?» — спросил кот.

«Тот, кого не было», — ответил поручик его же голосом.

Игрок протянул руку, чтобы сбить его, последнюю чёрную шашку.

Кот готовился к прыжку, к последней атаке...

И вдруг сквозь гул пробился спокойный, усталый голос папы, такой ясный, будто за спиной: «Сынок... Запомни. Ты не должен выиграть. Ты должен остаться собой. Даже если тебя сотрут».

Доска взорвалась светом.

Синюхаев проснулся. Сердце выбивало арестантскую

дробь. На полу у кровати темнели несколько капель. Не крови. Густых, синих чернил.

Шанс прикоснуться к тайне, увидеть то, чего не видят другие, стал явью, но цена этого дара — потеря себя.

Угроза быть стёртым, раствориться в чужом имени — уже дышит в затылок.

Ресурс — эликсир, сны, что открывают правду, и собственная пустота, готовая наполниться чем угодно.

Альтернатива — отказаться от видений, вернуться в серую жизнь незаметного поручика — невозможна.

Выбор сделан не им.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«История — не то, что произошло. История — то, что осталось в памяти. А память — это не хроника. Это шашка, дошедшая до края доски».

В 1847 году в старинной усадьбе бывшей фрейлины княжны Голицыной-Сундуковой мой прадед отодвинул обшивку сейф-бюро и нашёл золотую табакерку. Открыв её, он обнаружил сложенный вчетверо дневник и почувствовал связь с прошлым, которое продолжает влиять на настоящее.

Эта книга — не мемуары.

Это зеркало, выкованное из чёрного и белого мрамора Петербурга.

Там отражается не эпоха — а ты.

Внутри — пожелтевшие листы с лихорадочным почерком, пометками на трёх языках (русском, английском и французском), следами слёз и рисунками, похожими на карты несуществующих территорий закопанного города.

Курсивом выделены сны, видения и воспоминания. Они чёрно-белые.

Всё здесь — правда.

Даже то, чего не было. Особенно — то, что ты почувствовал.

Петербург 1800 года был полем боя, где вместо клеток —

судьбы, а вместо игроков — тени.

В этой игре четыре силы двигали людьми:

слепой Шанс, что даётся свыше;

ядовитая Угроза, что дышит в спину;

глухой Ресурс, что копится внутри;

и немая Альтернатива, что манит в никуда.

Каждый из нас — шашка на этом поле. И у каждого — свой ход.

Император-гусь игрался с дамками и расставлял позиции, кот наблюдал за этой вечной партией с высоты шпиля Петропавловского собора.

В истории каждой империи есть своё проклятие. В России это призрак. Призрак поручика, которого никогда не было. Его звали Киже. Он родился из-за того, что император слушал и не слышал других. Киже стал кошмаром для одних и последней надеждой для других.

Автор дневника — участник заговора. Не герой. Не предатель. Просто шашка.

Его имя стёрто из архивов. Его лицо — из зеркал. Его голос — из протоколов. Но в каждом молчании, в каждой паузе, в каждом несделанном выборе — он.

Эта история — на грани. Как сама грань между жизнью и легендой.

В ней — четыре извечных противоречия:

- власть и народ,
- идеалы и реальность,
- патриотизм без границ и критицизм без покоя,
- выдумка — прочнее стальной шашки.

Хотя это и не история.

Это — шашечная партия,

это Матрица ШУРА,

где в одном квадрате четыре разных клетки.

Всё, что с тобой было, есть и будет, уместается в них.

Перед каждым выбором задай себе четыре вопроса:

Шанс — тебя не ждут, а ты всё равно идёшь. Что можно выиграть?

Угроза — это твоя тень, заглянувшая тебе в глаза. Что страшно потерять?

Ресурс — не в деньгах, ты сам выбрал эти стены. Что есть прямо сейчас?

Альтернатива — падение, и ты впервые без маски. Что останется, если всё провалится?

Ответь своим ходом.

Игра уже началась.

Четыре поручика воплотили четыре масти в картах.

Их судьбы переплелись в последние месяцы правления Павла I, когда каждый шаг мог стать последним, а каждое

молчание — приговором.

Эта книга — зеркало, в котором каждый может увидеть себя.

Когда игра требует осознания — кто ты:

Шашка

Дамка

Игрок

Судья

Эта книга останется с тобой. Она будет напоминать, что каждый выбор — это ход на доске жизни. В любой эпохе, в любой системе найдутся свой «Синюхаев» — невидимая шашка, от которой зависит исход великой игры.

Эта рукопись — не о Кижее. О том, как обычный человек становится призраком.

И о том, что каждый из нас, сделав ход, которого от него не ждут, может родить своего собственного Кижее.

Ты уже сделал первый ход: открыл эту книгу. Теперь ты — часть игры.

Игры, в которой молчание — это ход, а память — единственная реальность.

Игры, которую придумал не я.

Я лишь взял немного жидкости из компота, отфильтровал

сквозь тряпку цензуры — и получилась повесть «Подпоручик Кижэ».

Полный, неотфильтрованный текст со всеми ягодками — перед тобой.

Кажется, что финал рукописи обрывается на полуслове.

Не потому, что автор не успел. А потому, что всё сказал.

Твой взгляд меняет концовку.

Кот на обложке — не украшение. Он — твой соавтор. Теперь ты часть его игры, и обратной дороги нет.

И его первый совет тебе: «Начни с Угрозы. Там спрятан твой Ресурс».

Оставь в этой истории свой след — потому что игра не заканчивается.

Она передаётся. Как эстафета. Как проклятие. Как свобода.

Юрий Тьяннов

ГЛАВА 1. ОДИН ДОМА

Как начать партию

Локация: Квартира на Миллионной улице.

Свидетель: Дворник.

О чём эта глава? Его хотят стереть. Но сегодня всё изменится.

Он получает записку от таинственной дамы.

1.1. Папа уходит

Папа медленно снял с шеи бордовый шарф. Повесил стул, как ружьё на стену.

— Шарф, — сказал он, — не для петли. Он для памяти.

Потом поднял воротник своего пальто, не глядя на сына.

— Завязывай его так, чтобы узел никто не видел. Чтоб страх не видел. А завяжешь по-другому — он сам тебя задушит. Завяжешь наружу — заметят. А быть замеченным в Петербурге — значит подписать себе приговор. Понял?

Сын за столом не обернулся. В очках, согнувшись над листом, он напоминал не офицера, а чучело для отпугивания ворон. Лишь кивнул, не отрывая взгляда от листа. Речь папы упала в тишину камнем в воду, и Синюхаев почувствовал,

как пошли круги.

Папа достал из карманов перчатки — медленно, будто одевался на бал.

— Все одинокие — несчастны, — сказал он, глядя в окно. Там всё время падал снег. И иногда падали прохожие.

— Ждут, что чудо само постучится в дверь. А оно, зараза, вечно опаздывает, как наш фельдъегерь. Идти навстречу надо. Не упusti своего счастья. Иначе жизнь напрасна.

Дверь захлопнулась. Эхо выстрела в пустоте. Синюхаев остался один. Наедине с самым страшным противником — с самим собой. И шашки на доске были расставлены.

Синюхаев вздрогнул, будто его ударили. Пальцы пробежали по столу, прочертив в пыли дорожку — будто кто-то невидимый только что сделал первый ход. Тишина вдавила его в стул с такой силой, что он перестал дышать. В ушах зашумело, в висках застучало — это кровь напоминала, что он ещё жив. Он провёл ладонью по лицу. Кожа была холодной и влажной, как у только что выловленного из Невы утопленника.

Он вдруг остро и ясно вспомнил, как в детстве, в такие же одинокие вечера, он играл в шашки с оловянным солдатиком, назначая его поручиком. Тогда мир умещался в квадрате ковра, а слово «долг» пахло яблоками, которые тайком приносила юная кухарка Акулина.

Но в воздухе остался папин голос, твердивший: «Не упusti. Иначе жизнь напрасна».

1.2. Сын один

Синюхаев сидел неподвижно, а потом резко, с размаху, ударил кулаком по столу.

Стол не сломался. А вот Синюхаева перекосило — от удара заныла рука.

Чернильница подпрыгнула, синие чернила брызнули на его незаконченные стихи.

Долги перед папой душили. Мелкие, но тяжёлые, словно горсть камней, зашитых в карман мундира.

Синюхаев представил потные пальцы ростовщика и насмешливый взгляд Ржевского. Как завтра на разводе все будут смотреть на него как на пустое место.

Горло сжал спазм, детский всхлип вырвался наружу. Он дернул ящик стола, и тот заскрипел, словно жалуясь. Пальцы наткнулись на шершавую пачку долговых расписок. Они пахли позором и вчерашним лафитом. Он развернул одну. Аккуратный почерк ростовщика, обычные фразы, сумма — пустяк. Но вместе эти бумажки весили больше, чем он сам. Они пахли пылью, канцелярией и чем-то липким, отчего хотелось вымыть руки.

Синюхаев пересчитал их. Тридцать семь рублей. Больше месячного жалованья. Он уже видел завтрашний развод: как Ржевский, проходя мимо, не посмотрит на него, а сквозь него, будто на то место, где поручик только что стоял, а теперь уже нет. Как на пустое место, которое еще не успели

заметить.

— Сжечь. Сжечь всё дотла! — прошипел он, тыча дрожащей рукой свечой в бумаги. Пламя лизнуло уголок, но рука дёрнулась, и свеча упала, оставив на столе чёрную, дымящуюся слезу. «Не могу. Даже уничтожить себя не могу».

— Папа, разве ты веришь в сглаз? — тихо спросил Синюхаев, чертя пером по бумаге квадрат из четырёх квадратов.

Квартира на третьем этаже дома №8 по Миллионной улице проглотила тишину и выплюнула тиканье часов да сиплые вздохи поручика Синюхаева.

На стене висел чёрный офорт, в центре — портрет белого императора, даты до понедельника 29 декабря 1800 года перечёркнуты кошачьим когтем.

На полке — тетрадь стихов, на столе — деревянная коробка с шашками.

Мир Синюхаева умещался между поэзией и партией, которую он боялся начать.

Молодой человек с гусиным пером сидел за столом. Перед ним лежал чистый лист. Он должен был писать стихи о бессмертии, а думал о долгах. Он должен был писать о гении, а чувствовал себя ничтожеством.

Он взял перо, окунул в чернила. На бумаге появилось: «Я — ноль».

Взял перо и аккуратно приписал: «...но я стану единицей». Смотрел на эти слова целую минуту. А потом взял перо и зачеркнул их обоих. Осталось только противная клякса.

Перо вырвалось из пальцев и вонзилось в ладонь. Из царапины выступила кровь, смешавшись с синими чернилами и растворив записи. Боль напомнила: он жив. А значит, может что-то изменить.

Синюхаев сорвал с себя очки и швырнул их на стол. Оправа звякнула — тонко, как стеклянный крик. Мир поплыл. Хорошо. Пусть не видит, как он дрожит.

Синюхаев глянул в зеркало — оттуда таращился бледный субъект с очками на носу. Субъект скривился, но с опозданием, словно раздумывал: а стоит ли вообще здесь находиться?

— Эй, — шепнул Синюхаев. — Ты кто?

Отражение чуть позже пожало плечами.

— Вот чёрт, — вздохнул поручик. — Я даже своё отражение уговорил быть призраком.

Отражение в зеркале вдруг подмигнуло. Синюхаев резко обернулся — в комнате был только он. Или нет?

Мундир нового образца висел на стуле чужой кожей, а не доспехами, ожидающими своего рыцаря. Пуговицы блестели не от света, а от того, что их ещё не касались потные лапы — будто ждали первого прикосновения, и первого предательства.

Начищенные до зеркального блеска сапоги звали выйти в свет.

— Ну, какой я поручик, — вздохнул Синюхаев, — мне никогда не поручали ничего важного. Только рапорты. Утром

посчитать исправные шомполы в роте. И всё. Конечно, исправный шомпол — это судьба солдата в бою. Однако... Я лишний. Как шашка, забытая в углу доски. А ведь даже шашка мечтает быть замеченной.

В тишине послышался шорох метлы, сметающей снег. Синюхаев подбежал к окну. Никого. Он сел у окна. Смотрел на Неву. Очень долго. И в этой тишине он впервые почувствовал: прощение — это когда ты перестаёшь ждать.

Вернувшись к столу, он выдвинул ящик и достал шашечную коробку. Открыл крышку. Шашки были не костяные и не каменные — простые, деревянные, от долгой игры стёртые, хранящие тепло бесчисленных прикосновений. Одна шашка была надломана. Он положил её на ладонь. Это была его сила. Последняя.

— Ну что, старушка, — сказал он шашке, — опять в игру? Ладно, вперёд. Не подведи.

Шашка молчала. Но в ладони стало тепло — будто сердце бьётся.

Синюхаев подбросил шашку и вернул её на доску. Игрушки понадобятся позже. Когда наступит время делать ход.

Правой рукой схватил перо. Взял маленькое зеркальце в левую руку. Увидел сутулого незнакомца, с тенями под глазами, с лицом, будто только что проснувшегося от кошмара.

Но с чистым и невинным лицом, не ведавшим ни острей бритвы, ни крепкой драки, ни дамского поцелуя. С таким лицом доживешь до старости — и ничего с тобой не случится.

Закрыв глаза, он увидел себя генералом — сильным и чужим. Лицо исчезло. Осталась только тень в синем мундире с золотыми пуговицами и эполетами. Хотел отвернуться — не смог.

— Да ладно. Я полупьяница и поэт без читателей. Вот и вся моя генеральская слава. Хочу... чтобы кто-то спросил, как у меня дела. И вправду дождался ответа. Но если я не уйду сейчас — я сгнию здесь.

Синюхаев вдохнул запахи синеньких чернил и старой бумаги, напоминавшие питерские туманы. Посмотрел на стихи в тетрадах. О бессмертии. О гении. О смысле. Каждая строчка спрашивала: «А ты? Ты кто?» Не генерал. Не герой.

Он хотел быть просто человеком, которого замечают, ждут, помнят.

Чернильница — полная, синенькие чернила свежие.

Перо — новое, без изъянов. Подсвечник — чистый, воск не растёкся. На стене — ковёр, яркий, как в день покупки, узор «белый двуглавый гусь».

В детстве папа рисовал ему на запотевшем окне гуся с двумя головами: одна — в клобуке, как монах, другая — в короне, как монарх.

— Вот наш двуглавый гусь, — говорил папа. — Одной головой молится, другой — крикает указы. Но обе — за Россию. За ту, что страдает, но не падает. За ту, что терпит, но не сдаётся. Вот гусь. Светлая вера и тёмная власть. И пока обе головы смотрят вперёд — империя жи-

ва.

— Он — чудовище? — спросил сын, - Почему он стал таким?

— Он — одна надежда. Гадкому утёнку скотный двор не позволил превратиться в лебедя. Пока вера и власть вместе, пока обе головы смотрят вперёд — Россия жива. А если разойдутся... тогда и гусь превратиться в дичь.

Синюхаев тогда засмеялся.

Теперь — не смеялся.

— Государь-гусь, — вспомнил он придворные сплетни об упрямстве и крикливости императора.

1.3. За окном

Тянуло на улицу — хотелось посмотреть, как прохожие убегают от падающего на них снега и скользят на ожидающем их льду. Синюхаев подошёл к окну и заметил грязную толстую нищенку, которая красной обмороженной рукой протягивала к небу рваную шапку — не прося милостыню, а бросая вызов судьбе.

Он прошептал Петербургу: «Моя судьба — ошибок цепь. Не то, не так, и не в ту степь».

Нищенка, будто услышав, резко повернулась. Подняла голову. Глаза — раскалённые угли. Она вытащила из кармана кусок чёрного хлеба и сожрала, не отводя от поручика взгляд.

Он хотел открыть окно. Сжал голову руками. Нищенка

открыла рот. Её губы не шевелились, но он ясно услышал: «Твой ход, поручик. Не проспи».

Синюхаев отступил. Не от вида. От мысли: «Это не нищенка. Это чёрная дамка улиц. Её шапка — портал в теневой Петербург, где улицы стояли, а дома бежали. Никогда не хочу с такой пересечься! Это я через месяц, если не встану с дивана!».

Он машинально потянулся к плащу на вешалке. Но мысль «Что скажут? Я же офицер!» сжала его руку ледяным обручем. Он отступил от окна, будто обжёгшись. В кармане плаща щёлкнул смятый листок — счёт от портного. Сумма, втрое превышающая его годовое жалование. А внизу — подпись ростовщика и приписка: «До понедельника. Или — в часть, как несостоятельного должника. Ваш мундир не платит по счетам». Ржевский рекомендовал этого ростовщика «как человека своего круга». И теперь Ржевский смотрел на него в клубе тем же взглядом — холодным, оценивающим, как на вещь, которую скоро придётся продать с молотка. Синюхаев отпрянул — не от вида, а от ощущения: будто нищенка смотрит не на улицу, а прямо на него. Внутрь. Туда, где под мундиром он прятал не только стихи, но и растущий долг, и неминуемый позор.

Он посмотрел на папин шарф, висящий на стуле. Не петля, а намордник. И в тот миг ему захотелось не снять его, а затянуть туже. Он схватил шарф — не чтобы согреться. Чтобы задушить в себе желание открыть окно и крикнуть:

«Что тебе нужно?!»

Вместо этого — смял шарф в кулаке. Шарф захрипел.

Схватил сапог и швырнул в стену. Громкий удар заставил вздрогнуть всю квартиру.

Он продолжал наблюдать жизнь на улице.

Петербург за окном напоминал паноптикум. Огоньки в полумраке мерцали свечами на чужих похоронах. А Синюхаев — всё ещё жив. Пока не начал дышать по уставу.

За окном — чугунная решётка. Завитки — змеи, сжимающие воздух.

Стужа из трещинки в стекле бил по щекам. Синюхаев прижал ладонь к стеклу. Ладонь замерзла. Он не отнял её. Хотел почувствовать — жив ли ещё.

За окном по грязи Миллионной улицы еле тащился генерал Стоянов. Шатался так выразительно, что прохожие, пожалуй, принимали бы его за маятник от часов Павла I. Вдруг генерал остановился, посмотрел на свой эполет, как на большую вошь, и, судя по выражениям на лице, смачно выругался. Потом сорвал эполет и запустил в канаву. Следом за ним гуськом маршировали мальчишки — руки по швам. Первый шлёпнулся в лужу, остальные перешагнули и продолжили топтать, как ни в чём не бывало.

Усмешка, первая за неделю, исказила лицо Синюхаева и тут же застыла маской.

— Вот она, реальность, — подумал он. — Не на параде.

Над крышами шпиль Петропавловского собора воткнулся

в небо, будто напоминал: кто-то всегда смотрит сверху.

Он прижал лоб к холодному стеклу. Этот пронзительный холод был единственным, что связывало воедино этот бредовый калейдоскоп: нищенку, генерала, кота, шпиль. Всё это — части одного большого, ледяного сна, из которого он не мог проснуться. И стекло было границей. Границей, которую он отчаянно боялся — и отчаянно хотел — пересечь.

За окном тьякала палевая собака. На заборе восседал чёрный кот. Безмятежный вызов всей питерской суете. Синюхаев задернул шторы. Не от страха — он выбрал сторону: сторону кота, того, кто не лает, а делает ходы.

Он не хотел видеть прохожих и жизнь, которая шла мимо. Боялся, что игрок не заметит, как одна шашка исчезла с доски. Или, что хуже, заметит, и ей будет всё равно.

Лай рыжего пса под окном рвал тишину на части. Каждый лай — удар по нервам.

В подворотне появились собака палевого цвета.

Рыжий пес, словно по команде, бросился вдогонку и скрылся за углом.

Тишина наступила внезапно выдохом после выкрика.

Синюхаев почувствовал облегчение и услышал мяуканье кота. Миллионная улица за окном изогнулась змеёй. Дом напротив исчез, на его месте — чугунная решётка с монетами. Петербург вздохнул — в трубах застонал ветер, будто город пробуждался от кошмара.

Из тени раздался шёпот: «Думаешь, ты игрок? Ты — моя

любимая шашка. Иди. Жду.»

В ушах звенел колокол — не от жалости, от страха.

Он еще не знал: страх — не конец, а начало.

Счастье, — произнёс Синюхаев, — это кот, появляющийся, когда перестаешь его ждать...

И написал на листке:

На коленях просили мы всяких щедрот,

Чтоб достались без стонов соленых,

Поминая заслуги, разинувши рот,

Но печально молчала икона.

Отвечала презрительно нам тишина —

Недостойным, пустым, лицемерным.

Наверху — чистота, а внизу — грязь одна,

А спасенье — в себе лишь, наверно.

Мало жертв мы приносим духовным богам —

Справедливости, Чести и Правде,

Слишком жадны к деньгам, беспощадны к врагам

И завистливы к первым среди равных.

Зря даяний мы жаждем, зря рвемся к весам:

Нищей совести боги не внемлют!

Воздеваю я руки к святым небесам

И роняю на грешную землю.

Медленно порвал листок со стихами и бросил его в камин. Пламя лизнуло бумагу, пепел упал. Синюхаев не шевелился.

Не то. Не боль, а поза. Настоящего отчаяния в них не было. Только страх его потрогать.

1.4. Вечер в офицерском клубе

Закрыв глаза. *Вспомнил – вчера пили лафит, клялись в верности императору, резали ладони шашками по древней традиции. Он не резал. Он приложил ладонь к чужой крови — и этого хватило, чтобы его сочли своим. Он не был своим. Он был тенью. А тени не клянутся.*

После баловались в шашки. Проиграл всем. Голицыну, Эмануэлю, Ржевскому. Не потому что не умел. А потому что не верил, что имеет право выигрывать. Победа требовала уверенности. Её не было.

Это была Академия Шашек Суворова, где партии решали не честь, а судьбу. «Побеждает не сильнейший, а первый сделавший ход», — гремел голос Суворова. «Штык — продолжение мысли офицера», — вторили курсанты.

«Шашка — это сжатая судьба», — доносилось из теней.

Суворов не подчинялся уставу — и побеждал любой ценой. «Меньше слов! Больше дел!» — его девиз.

Курсанты играли не за выпивку, а на память: кто первым сдастся — тот сбит с доски.

Открыл глаза, закрыл. *В прошлую ночь, когда они впервые вместе напились до забвения, каждый из них впервые увидел*

в другом не сослуживца, а зеркало собственного падения.

Ржевский опрокинул стол. Голицын схватил графин. Эмануэль — нож.

Синюхаев — шарф. Драка началась. У Ржевского из кармана выпала табакерка.

Эмануэль поднял её и вернул Ржевскому. На миг их взгляды сошлись — без слов, без злобы. Вино лилось. Стекло хрустело. Шарф душил. Так закончилась предыдущая встреча. Вспомнился и ротмистр, его матерное предупреждение — первое и последнее для всех.

Тошнило. Во рту — привкус вчерашнего лафита. Голова раскальвалась. Он поклялся себе больше не пить — в очередной раз. Но понимал, что это ложь. В Петербурге трезвость была роскошью, которую он не мог себе позволить. Питьё было единственным способом заставить дрожащие руки успокоиться, а совесть — замолчать.

1.5. Приглашение

Шорох у двери — лёгкий, почти неуловимый. Он обернулся. Половицы заскрипели под ногами. На полу — розовый конверт.

Он знал: если прочтёт записку — исчезнет. Если не прочтёт — исчезнет другой.

Он подошёл к зеркалу. Бледное, испуганное отражение. «Трус», — прошептал он и понял: выбор — это не между риском и безопасностью. Выбор — между жизнью, кото-

рую за тебя выбрали другие, и своей собственной, какой бы страшной она ни была.

Он закрыл глаза, открыл и не увидел своего лица. Он увидел чистый лист. И этот лист был страшнее любой маски. На него можно было написать что угодно. Или ничего.

Лист потемнел и превратился в тень.

— Я прочту, — сказал он тени в зеркале. Сделал шаг. Первый за всю жизнь — не от страха, а к себе.

Понюхал — «Кёльнская вода». Внутри — записка: «Дорогой поручик, жду сегодня в 8 вечера. Мадам Жеребцофф.

P.S. Вы — валет трэф. А значит, успех!

Английская Набережная, дом 11».

Прочитал трижды. Один раз — как приказ. Второй — как ловушку. Третий — как шанс.

Интересно, кто такая мадам Жеребцофф, зачем зовёт.

Возможно, это его начало.

Фраза «валет трэф» задела. Это был не комплимент. Это была метка. Карта. Символ. Он — не человек. Он — знак. Успеха. Чужого ожидания.

Его тянуло к зеркалу — последнему, кто видел его прежним; угнетала мысль о том, что рубашка под мундиром — единственное, что ещё не принадлежит чужой воле.

Подошёл к окну. Увидел, что по улице уходит женщина в светлом. Быстро. Бесшумно. Как сон, который не оставляет следа. Не успел её разглядеть. Но почувствовал — это она. Та, кто оставила записку. Хотел окликнуть. Не окликнул.

Что-то внутри шевельнулось. Не решимость. Не страх. Что-то между. Предчувствие. Ощущение, что сегодняшний вечер изменит всё. Или не изменит — и тогда он останется здесь навсегда, в этой тишине, с этим лаем, с этой запиской...

— Я не пойду, — сказал он. Голос дрогнул, как струна, натянутая до предела и готовая лопнуть от малейшего дуновения. Ведь могут стереть. А если не пойду — сотру сам. Нет. Да. Нет.

В ответ раздалось громкое презрительное «Мяу!». Кот — приказал.

Вспомнил себя семилетним. Мама укрывала его своим платком, когда за окном гремела гроза. Платок пах лавандой и тёплыми пирогами. Она гладила его по голове, и тогда страх отступал. Потом мама умерла. Платок исчез. А гроза осталась. Только теперь она гремела не за окном, а внутри, в груди. И укрыться от неё было уже нечем.

Мама, уже больная, шептала ему, держа за руку: «Не выходи из комнаты – совершишь ошибку, за дверью чужие. Смотрят, замечают, не туда посылают». Он спрятался в платяной шкаф, среди пальто, и просидел там до вечера, боясь дышать. Задыхаясь.

Вечером невысокий седой папа с глазами, видевшими всё и разуверившимися во всём, папа сказал: «Ты — синюха. Трава, что спасает, когда всё потеряно. Не прячься. Действуй.»

Кухня. Пахло чаем и свежим хлебом. Папа расставил шашки.

— Ходи. От тебя зависит, станет ли этот ход — легендой, — сказал. — Не бойся. Даже если проиграешь — ты всё равно мой сын.

Мальчик дрожал. Боялся сделать не так.

— А если я... никогда не стану тем, кого заметят?

Папа погладил его по голове.

— Заметят не за не за громкость, а за честность.

Смотри. — Он коснулся шашки. — Эта доска — целый мир. Четыре угла — четыре силы, которые управляют твоей жизнью.

Запомни, сынок, в жизни всегда есть четыре ветра.

Один дует в спину — это шанс.

Другой бьёт в лицо — это угроза.

Третий — это то, что у тебя в парусах, твой ресурс.

А четвёртый... четвёртый зовёт в сторону, на другую дорогу.

И самый трудный выбор — понять, какому ветру подставить плечо

— А что такое игра в шашки?

— Каждый хочет победить. Но для этого... — Отец взял сына за руку и вместе с ним передвинул шашку на последний ряд, перевернув её. — ...нужно дойти до самого края. Пройти всё поле. Иногда ценой других. Понимаешь?

Мальчик не понял до конца. Но запомнил. Запомнил на-

всегда.

Синюхаев потянулся к перу: «Напишу отказ. Маму надо слушать».

Кот прыгнул и бросил перо на пол. Перо улетело под кровать. Синюхаев замер, затем, не глядя на кота, шагнул к двери — и остановился. Повернулся. Подошёл к зеркалу. Поправил растрёпанные чёрные волосы и разгладил мундир. Потом — резко сорвал домашнюю рубаху, швырнул на пол. Схватил со стула мундир. Натянул. Сел.

Пробило семь ударов часов. Семь шансов передумать.

Он вскочил. Застегнул пуговицы — одну за другой, будто клятвы.

Швырнул записку на стол — словно хотел от неё избавиться.

Поднял — словно она сама его звала. «Пойду — сотрут. Не пойду — сотру сам.»

Спрятал в карман мундира — словно запечатал свою судьбу.

Пригладил волосы. — Или пойду.

Выпрямился. Стало легче дышать. Он не выбрал. Он подчинился. Тому, что внутри.

Вспомнил учителя из гимназии. Того, кто сказал: «Ты пишешь не для славы. Ты пишешь, потому что иначе задохнёшься». Тогда он не понял. Теперь — понял.

Если не пойдёт — задохнётся. Если пойдёт — умрёт.

Но ждать вечно — нельзя. Выбор был не между жизнью и смертью.

Выбор был между существованием и попыткой стать кем-то.

Он не знал, кем станет. Но прежний Синюхаев умер. Утонул в луже собственного страха.

Кот на подоконнике вдруг щёлкнул когтем по стеклу. Будто отсчитывал последний шанс. Синюхаев вздрогнул. Это был не просто выбор: пойти или не пойти.

Это был выбор: остаться Синюхаевым-тенью или стать Синюхаевым-ходом.

Даже если этот ход вел в бездну.

Посмотрел в зеркало. Лицо в отражении было бледным, испуганным. Он скривил губы — попытка улыбки. Затем нахмурился — гримаса решимости. Потом — пустота. Как у актёра, репетирующего свою роль перед выходом на сцену. За его спиной — тик-так, тик-так — отсчитывали секунды старинные часы.

Синюхаев потянулся к шарфу. Папа велел завязывать узлом внутрь — прятать.

— А я хочу, чтобы меня видели.

Он оставил узел развязанным — нарочно. Не стал выпрямляться. Просто сказал: «Я иду».

И сделал шаг. Первый за всю жизнь. И пошёл. Не к успеху. Не к женщине. К себе.

А за окном снова лаял пёс, и где-то далеко звенел бубенец

на санях.

Чёрный кот ждал именно этого момента. Именно этого человека. Кот не мяукнул. Не двинулся. Наблюдал за выходом Синюхаева. В глазах кота отражалось будущее. Дверь хлопнулась. Кот моргнул — впервые за день. Ход. Первый из многих. Кот не смотрел вслед. Он уже знал: Синюхаев вернётся победителем.

В тот день, когда решишь, что жизнь кончена — она только начинается.

Конец — это всегда чужое начало.

Шашки слушают дамок, чтобы исполнять приказы.

Страх — не слабость. Страх — карта. А карта — путь. Главное — не стоять на месте.

Страх был его топливом. А топливо, как известно, имеет свойство воспламеняться.

Он шёл, и ему казалось, что он не отбрасывает тени. Он был пустой клеткой на доске, и в этом таилась странная, невероятная сила. Сила, которая могла либо сотворить его, либо стереть в порошок. И он еще не знал, что из этого страшнее

Он мысленно расставил четыре клетки.

Шанс — выйти за дверь — манил.

Угроза — навсегда остаться в клетке собственного страха — душила.

Ресурс — пустота, в которой можно стать кем угодно — пугал.

Альтернатива — сгнить в долгах и несбывшихся мечтах
— была невыносима.

ГЛАВА 2. МАДАМ ЖЕРЕБЦОФФ и СУНДУКОВА

Первый ход на чужой половине

Локация: Английская набережная, дом 11.

Свидетель: Розовый конверт.

**О чём эта глава? Он выпьет эликсир и станет всем.
Или никем.**

Сны становятся реальнее жизни. Но цена за ясность — его собственная душа.

2.1. Петербург

Это был не город, а идея, высеченная в камне на болотах. Гигантский часовой механизм, где люди были шестерёнками, а их судьбы — пружинами. Улицы сходились в линейки строками указов. Фасады дворцов за каменными гримасами скрывали труху несбыточных обещаний. Граждане непрерывно строчили доносы императору, в стены были вделаны глаза и уши. Шёпот в Зимнем Дворце подхватывал ледяной ветер Финского залива, эхо отзывалось в каземате Петропавловской крепости.

Петербург ворочался в лихорадочном сне, мокрой брусча-

той впитывая шаги заговорщиков, чтобы потом их сбросить в ледяные воды каналов. Город всасывал души, и Синюхаев чувствовал, как трясина подступает к его горлу. Шпоры цеплялись за чугунные решётки мостов, в Неве тонули последние следы надежды. Фасады домов на Английской набережной, словно застывшие и гладкие щеки покойника, красил румянами закат. На шпиле Петропавловского собора барахталась душа империи. Как золотая бабочка на булавке в коллекции аурелиана.

2.2. Мадам Жеребцофф

Переступив порог дома мадам Жеребцофф, Синюхаев ощутил границу.

Он сделал первый ход на чужой половине доски.

Парадная — с бронзовыми ручками в виде львиных голов.

Пахло воском и дорогими духами. Тёмный зал прорезали блики свечей — остатки человеческого тепла, пытавшегося противостоять враждебному миру за стенами.

Мраморная лестница, ступени отполированы до зеркального блеска.

Потолочные розетки с позолотой, свежей, как утреннее солнце.

Над камином портрет императора. Взгляд не добр и не зол — он оценивал.

Будто уже знал, кто войдёт, и что с ним станет.

В кресле, словно на троне, восседала мадам Жеребцофф.

Она была похожа на статую языческой богини, которую слишком добросовестно откормили к жертвоприношению. Розовый пеньюар обтягивал её так плотно, что, казалось, вот-вот лопнет не шов, а сама плоть. В одной руке карты, в другой — рюмка. Показала Синюхаеву в улыбке все зубы так, что у него внутри всё похолодело.

Мадам пальцами рассыпала искры, чтоб мужчины вокруг загорались, как сухие щепки. За спиной дрожало зеркало, пряча тень другого Петербурга — где дороги вели в Рим сквозь Венецию, а каналы пели баркаролы на языке забытых снов.

Она посмотрела — долго.

Его мысли вывернулись наизнанку, стали голыми и незащитными.

Она жестом предложила ему сесть и выпить розовый чай. — Многие ставят дома бюсты императора, — сказала хозяйка, небрежно поправляя пеньюар и бросая быстрый взгляд на портрет Павла, — а у меня дома только два бюста — задний и передний! Один — для гостей, другой — для предателей. Какой изволите, поручик?

Она заржала — громко, вызывающе, совсем как лошадь. Синюхаев дёрнулся. В детстве его лягнул пони в зоопарке, и с тех пор лошадиный смех действовал на него хуже любого окрика. Он не краснел от стыда — он бледнел от ужаса. Поэтому и уставился в пол — боялся, что она сейчас лягнёт.

Мадам Жеребцофф довольно хмыкнула, оценив эффект.

— Да ладно, поручик, — прочитала его мысли хозяйка, — искусство должно быть ближе к жизни!

Она встала. Подошла к камину, показывая себя во всей красе, вынула из кармана чёрный платок с вышитым белым гусем. Протёрла стекло. Не от пыли. От отпечатка пальца — чужого. Бросила платок в огонь. Пламя вспыхнуло, пожрало гуся за секунду. Она не отводила взгляда. Улыбнулась уголками губ.

Кижэ понял: она не женщина. Она — другая система. Которая не прощает.

— Даже любовь сгорает. Главное — уметь воскресать. А Вы в огне не горите, в воде не тонете? Или только боитесь? А чего больше стальной шашки или пули?

Синюхаев попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривой, как след ножа.

— Ах, поручик... — продолжила она, прищурившись. — Чем Вы занимаетесь, когда не на службе?

— Сплю, — ответил он, отведя взгляд. — Сил никаких нет. Зато вижу замечательные сны.

— А я вот смотрю на Вас, — сказала мадам Жеребцофф, поднимая чашку и не сводя глаз с гостя, — и вспоминаю своего чёрного мопса. Та же неприкаянная мордочка, бестолковые глазки, неловкие лапки. Я только со своим пёсиком так прекрасно спала, а мужчинами — так ужасно!

— Я... не знаю, что сказать... — пробормотал он, глядя в пол и вцепившись в подлокотники кресла. — Просто... не

ожидал... Меня папа всегда звал котом. Я даже мяукаю дома, разговаривая. Иногда разыгрываем небольшие спектакли.

— Высший свет — это не спектакль, милейший. Это бойня. А Вы — не зритель. Вы — мясо. Я решу, пустят тебя на корм или выбросят на помойку. И никто даже не заметит.

— Папа сказал, что дамкой не рождаются.

— Дамку... — она выдохнула дым, глядя куда-то мимо него, — Её выгрызают из костей. Понимаете? Из собственных костей. Молча. Чтобы в конце концов... все просто начали бояться. Я прошла этот путь. И теперь выбираю тех, кто дойдёт. Зеркало за моей спиной — это дверь, открытая для достойных.

Мадам Жеребцофф подалась ближе. Он вдохнул запах духов — сладкий, с нотками ванили и холодной стали.

— Вчера у себя Державин читал стихи, — сказала она. — Какой поэт! Какой деятель! А Вы, поручик, поэт или деятель?

Он сглотнул. В горле пересохло. — Мои труды... пока в столе. Я... пишу, но это... для себя. Как молитвы... Непризнанный... гений, быть может.

Последние слова прошептал, как признание в грехе.

Павел на портрете поморщился.

Мадам Жеребцофф закинула голову и заржала по-лошадному.

Из её рта вылетел механический чирик-пыжик в синем мундире.

Синюхаев отодвинулся и поёжился.

— Гений, говорите? О, его Величество не всегда понимает не то что гениев — даже очевидного. Вот, к примеру, Павел не может выбрать между Шевалье и Нелидовой. Обе милы. Но... Ладно, не будем о грустном.

— Давайте о весёлом, — попытался он поддержать разговор, чуть не плача.

Она подалась вперёд и приложила ладони к его щекам.

Он чуть отшатнулся, она держала крепко: «Думаете, Вы чистый и невинный ангел? Вы балбес и бес, поручик, если не дарите дамке радость! Вы можете быть кем угодно. Дайте мне руку — и я сделаю вас настоящим мужчиной. Положите голову мне на грудь, я укачаю. Любой мужчина мечтает пройти к дамке...».

Он почувствовал, как пылают щёки, потупил взгляд. В ушах застучало, будто кто-то бил в барабан. Ладони стали влажными, язык прилип к нёбу.

Он вцепился в подлокотники так, что дерево захрустело. Не отводил взгляда от её губ. Не потому что хотел поцеловать, а потому что боялся: вдруг она скажет то, что разрушит его, то, что сам себе не позволял думать. Задержал дыхание. Ждал.

Она промолчала, улыбнулась и отпустила. Его пальцы разжались сами.

— Сударыня... простите, мне... пора идти, — выдавил он дрогнувшим голосом. Он вскочил, едва не опрокинув крес-

ло.

— Ладно, знакомство состоялось. Была рада. А теперь идите вон по тому коридору. Вас там судьба встретит.

В дальнем углу Синюхаев заметил джентльмена в тёмном, скрытого за тяжелой портьерой. Лицо его было в тени. Он просто наблюдал и оценивал. Как тот, кто уже расставляет шашки на доске. Руки он держал за спиной. Синюхаев шагнул назад, но за портьерой никого не было.

Бодрое лошадиное ржание провожало поручика, скользившего по полу, тихому, как тайна.

В коридоре мелькнула небольшая тень. Быстрая. Чёрная. Синюхаев вздрогнул. Это был не человек. Это был взгляд. Жёлтый. Уставился из темноты и исчез.

2.3. Сундукова

Синюхаев увидел блондинку и просто забыл, как дышать. Она стояла у окна, и мутный петербургский свет проходил сквозь её платье, как сквозь лед. Она была похожа на призрак, который явился в этот мир по ошибке и теперь не знал, уйти ему или остаться. Синюхаев задержал дыхание, потому что ему показалось: если он вздохнёт слишком громко, она растает. И ему останется только это окно, вид на унылый Петербург и глухая тоска.

Синие глаза её смотрели не на него, а вдаль, туда, где будущее сверкало смыслом.

Не обернулась.

— Поручик ..., — начал представляться он.

— Я знаю. Садись. Ты — валет треф. — Обернулась на миг, её пальцы коснулись его ладони, а губы растянулись в улыбке, не дотягивавшей до глаз.

— Валет треф? Это же шут? — не понял Синюхаев.

— Шут громкий, а валет тихий, — усмехнулась Сундукова. — Валет подбирается к королю, когда тот на дамок засмотрелся. На валета никто не смотрит. Он может ходить, где угодно. Он может слышать, что угодно. Потому что он — никто.

Она посмотрела ему прямо в глаза.

— А тот, кто никто, может сделать всё. Так что ты, поручик, не просто карта. Ты — самый опасный игрок на столе. Потому что тебе нечего терять.

Она подмигнула, и у него ёкнуло под ложечкой.

— Да, да. Я — самый опасный! — печально пошутил над собой Синюхаев.

— Эту карту все считают ничтожеством. Значит, твой ход станет неожиданностью. Успех рождается там, где его не ждут. В некоторых играх валет — самый опасный, способный перевернуть всё, — серьёзно ответила она. — Сундукова, фрейлина мадам Жеребцофф. Ты опоздал. Я уже думала, не придёшь.

Синюхаев инстинктивно потянулся к шарфу на шее, но тот был скомкан в кармане

— Не собирался. Пока не понял, что опаздываю.

— Ты пишешь стихи, — спросила она. — Правда?

— Правда. Но они ни для кого. Разве что для четырёх стен.

— А если я — та, кого ты видишь во сне? — спросила она.

Он молчал.

Она сказала: «Тогда тебе не повезло. Я не из тех, кого видят. Я из тех, кого теряют.»

Он подумал: она лжёт. Но в этой лжи была та правда, которую он так долго искал.

Она из тех, кого ищут. И он — тот, кто найдёт.

— А если я пишу не стихи, а твоё имя? — вырвалось у него, прежде чем он успел себя остановить.

Она медленно провела пальцем по его губам, словно стирая не слова, а сам воздух, которым они были сказаны.

Когда пауза затянулась, добавила: «А мне никто не нравится!».

Пожала плечами и улыбнулась — не кокетливо, не насмешливо и не вызывающе, а просто. Будто он был человеком.

Она отвернулась к окну, и ее отражение стало холодным, как лед на Неве. «Меня выдали замуж в четырнадцать. Он прожил ровно четыре дня. С тех пор я ношу вот это платье. Оно свадебное. И проклятое. Потому что свобода, поручик, — это когда тебе не с кем идти к алтарю».

Она внезапно смахнула с его плеча несуществующую пылинку, пальцы трепетно коснулись мундира, а потом сузила

глаза: «Ах, поручик. Все офицеры здесь — пыль. Но тебя не боятся, не подозревают...»

Она подняла бокал. В вине отразился не её глаз, а кот.

— Тебя можно послать туда, куда другие не пойдут, — сказала она, — Идеальный кандидат... потому что ты можешь всё — и тебе за это ничего не будет. Я видела сотни таких, как ты. Они ломались. Ты не сломаешься. Ты научишься прятать слёзы за улыбкой, а страх — за решимостью. Такая сила выживет в битве. И теперь — твоя очередь. Твоя кровь уже отмечена. Ты не заметил? На запястье — след. Как от невидимого пера.

— Именно поэтому я — шанс? — спросил он.

— Шанс рождается там, где все сдались, — пояснила она.

Он посмотрел на своё чистое запястье.

Она коснулась его лба. Синюхаева зазнобило.

— А теперь ты видишь то, что видела я. С самого начала.

Перед глазами — доска. И он на ней. Последняя чёрная шашка.

Потом вдруг схватила его за воротник мундира, притянула к себе так близко, что он почувствовал тепло её кожи, запах её духов — горьковатый, незнакомый, от которого закружилась голова. Она выдохнула почти в ухо: «Ты... ты мне интересен. Как ошибка в партии».

Пальцы коснулись его ворота. «Именно поэтому ты важен».

Она повернула его лицо к лунному свету, падавшему из

окна: «Ошибка, которую можно превратить в гениальный ход. Но для этого её нужно осознать. Ты осознал, кто ты, поручик?»»

— Почему я, а не Голицын, не Ржевский, не Эмануэль?

— Они предсказуемы. Их души — как раскрытые книги. А ты... — её голос стал тише, — ты — чистая страница. На тебе можно написать всё. Или ничего.

Синюхаев попытался отвести взгляд.

— Не двигайся, — она сжала пальцы чуть сильнее. — В этом твоя сила. И моя надежда.

— Какая сила? Я не генерал, а всего лишь поручик.

Она коснулась его виска — по комнате пробежала тень, пахнувшая мёдом и сталью. Тень кота.

— Хотя... — охладев и отодвинувшись, продолжила она, — чем ты лучше других? Генералы умеют умирать красиво. Ты пока умеешь только дрожать.

— Я... не претендую, — начал он, — Но, может, я не такой, как вам кажется? Может, Вы... могли бы... рассмотреть меня? Вы мне очень даже симпатичны.

В комнате вспыхнула свеча, которую не зажигали.

Сундукова долго разглядывала Синюхаева — не как мужчину, а как шашку, которая ещё не знает своей силы. Её взгляд был расчётливым, словно она уже видела все его будущие ходы. Потом спокойно продолжила: «Я различаю тех, кто способен дойти до края. У меня есть... кое-что. Не для слабых. Для тех, кто готов заплатить болью за право быть»

услышанным. Ты готов? Или ты, как все мужчины, хочешь, чтобы тебе всё дали, ничего не требуя взамен? Оно живое. Оно дышит. И оно выбирает тебя, а не наоборот».

Она вдруг замолчала, прислушиваясь. Тишина в комнате сгустилась, как перед грозой.

Она вдруг замолчала, и в тишине стало слышно, как бьется сердце Синюхаева. Громко, глупо, предательски.

—Слышишь? — прошептал он, как будто они прожили вместе тридцать лет и три года. — Это время. Оно спешит.

— Время не спешит, поручик, — почти беззвучно ответила она. — Оно уже здесь. К утру эликсир нужно выпить. Или ты боишься не того, что увидишь себя настоящего. А того, что тебе так понравится быть им, что ты уже не захочешь возвращаться назад. К такому ничтожному, как ты есть.

— Как и те, кто решил, что гусь слишком долго крикает по-своему, — прошептала она в ответ и посмотрела в окно, где мелькнула тень проходящего патруля.

Затем достала из бара нечто в зелёном бархатном мешочке и протянула визитёру: «Это лорд Чарльз, английский посланник, оставил после отъезда. Эликсир ясности ума. Помогает отличить правду от лжи, а друзей — от врагов. Это дороже любой победы. Ложка утром и на ночь. Это не яд. Это ключ к тайнам, которые ты боишься увидеть».

— Он вряд ли прояснит мои мысли...

— Он стирает границу между внутренним миром и внешним.

— Сны станут явью, а явь — сном? Почему я? — выдохнул он.

— Потому что я не верю в честь. Не верю в долг. Не верю даже в любовь. Но верю в одно: пока я играю — я жива. А ты... ты ещё не начал играть. Ты всё ещё думаешь, что можно выйти.

Сундукова сунула ему в ладонь что-то холодное.

Синюхаев развернул бархат — колбочка, как у аптекаря. На ленточке вышито: «Elixir of Courage & Charm». А ниже мелким шрифтом: «Состав: отчаяние, страх, чуть-чуть надежды. Побочка: либо всё забудешь, либо станешь героем. Хранить в тёмном месте, лучше в себе».

Синюхаев хмыкнул: «А инструкция по применению есть?»

— Пей и не думай, — ответила Сундукова.

Он кивнул и заморгал, чтобы не заплакать от счастья.

— Попробуй, — предложила она, проводя пальцем по горлышку флакона. — Мир, который ты видишь, — это сон. А вот это — пробуждение. Больное, горькое, единственно настоящее.

Поручик посмотрел на Сундукову.

В её глазах светилось спокойное любопытство кота, наблюдающего, что решит гусь: бежать или съесть приманку?

Пальцы скользнули по стеклу. Он сильно дёрнул пробку. Предсмертный выдох вырвался наружу. Запах ударил в нос — мёд, металл, кровь.

— Знаешь, каково это — когда все тебя боятся? — тихо сказала она, глядя в окно. — Никто не подойдёт просто так. Никто не спросит, как у тебя дела. Все чего-то хотят. А я просто хочу, чтобы кто-то пожалел меня. Не за подарки. А просто потому, что я — это я.

Она обернулась. В её глазах он увидел не загадочную фрейлину, а женщину, которая устала быть сильной. И в этот момент он понял, что любит её.

Синюхаев вздрогнул. Колбочка едва не выскользнула. Пальцы сжали её – мёртвой хваткой. Стекло было тёплым от её пальцев. Сквозь него пульсировала жидкость цвета запёкшейся крови. Он почувствовал, как по его спине, под мундиром, пробежала струйка пота. Не от страха, а от желания. Желания наконец-то УВИДЕТЬ, даже если это убьёт. Желудок свело. Пальцы задрожали, будто он держал не колбочку, а змею.

Это был не напиток. Это приговор. Или ключ. Выбор за ним.

Он поднёс к губам, остановился, посмотрел на неё ещё раз.

Она прищурила глаза: «Эликсир не показывает будущее, Он показывает систему. Ты увидишь не шашки, а игроков. И поймёшь, что система не терпит пустоты. И стремится заполнить собой».

Она ждала. Синюхаев почувствовал, как по спине пот струйкой побежал по затылку. Он сжал челюсти, подошёл

к зеркалу и замер. Отражение дрогнуло. В его собственных глазах вспыхнул и погас жёлтый, кошачий огонек. А потом отражение медленно, против его воли, растянулось в тонкую, беззвучную улыбку. Улыбку, которой Синюхаев никогда не улыбался. Он отшатнулся...

Синюхаев выпил. Мир перевернулся. Зеркало закричало — не голосом, а трещиной, что разбежалась по стеклу, как молния по небу. В горле вспыхнул огонь, потом лёд, потом — пустота. Жидкость обожгла. Не тело. Душу. Он почувствовал: он больше не пешка. Он — яд в крови системы. Кожа под мундиром стала чужой, будто тело стёрли и написали заново.

Сундукова не улыбнулась. Лишь палец снежинкой коснулся запястья — и пропал.

— Я пришлю записку, — сказал он, превратившись в одно большое сердце, — со временем и местом встречи.

И отступил в тень коридора, чувствуя пульсирование внутри — не от страха, а от возможности.

Она осталась у окна, застыв, как статуя, повидавшая чересчур много. Но на прощание мяукнула — тихо, почти неслышно. И пропала.

Он подошёл к зеркалу в прихожей, чтобы поправить шарф, и вдруг замер. Отражение дрогнуло. Всего на миг — но он ясно увидел: черты его лица сначала поплыли, как расплавленный воск, а потом замёрзли и отвердели. В его глазах вспыхнул и погас жёлтый, кошачий огонек.

Синюхаев отшатнулся и протёр стекло ладонью. Все было на своих местах. Тот же испуганный поручик. Эликсир работал. Он менял не только чувства — он менял плоть.

Он ушёл. Но его шаги звучали надеждой — тихой, робкой, но упорной, как первая весенняя капель.

На ступеньках крыльца он споткнулся о спящего кота. Тот флегматично открыл один глаз, словно говоря: «Ну, началось».

Дома приснился безупречно одетый лорд Чарльз в дорогом кабинете, где смердело дешёвой водкой и вонючим табакком. Он водил пальцем по карте мира от Парижа к Петербургу и гундосил: «Павел заключил союз с Бонапартом! Шлёт казаков в Индию! Это безумие обрушит всю британскую торговлю и втянет нас в войну, которую мы не переживем! Англия — главный российский кредитор! Пора выпускать нашего валета!».

Шанс получить эликсир и внимание — исполнился.

Угроза остаться простой шашкой в чужой игре — нависла.

Ресурс — эликсир, меняющий реальность — внутри.

Альтернатива вернуться в прежнюю жизнь — отрезана.

ГЛАВА 3. СНЫ СИНЮХАЕВА О ДАМКАХ И ГОСПОДАХ

Не все шашки равны, многое зависит от позиции

Локация: Голова Синюхаева.

Свидетель: Гусь.

О чём эта глава? Во сне он видел убийство императора. Наяву за это могут убить его.

Но кому рассказать, если каждый твой взгляд может стать доносом?

3.1. Полусон

Синюхаев выпил — и мир треснул, как зеркало. Пол ушёл вниз, а вместо потолка — шашечная доска. Огромные пальцы двигали его по клеткам доски. Во рту — привкус мёда и ржавого гвоздя. И запах... будто рядом кто-то дышит. Живой. Или очень хорошо притворяется.

Одна капля — и ты уже не Синюхаев. Одна капля — и ты ход на доске, которого не ждали. Эликсир манил запретный плодом из Атлантиды.

Сундукова прошептала: «Это ключ к тайнам, которые ты боишься увидеть».

Комната поплыла, стены задрожали. Эликсир стряхи-

вал краску с реальности, и Синюхаев проваливался в подкладку мира, где сны были черно-белыми, а явь — смутным кошмаром на пороге.

Игра завершилась, но сделанные ходы продолжали вершить судьбы.

Свет и тени носились по диагоналям — не вперёд, а вглубь.

Там всё было ясно: кто враг, кто друг, кто уже мёртв, а кто ещё не родился.

Сны — то, что ты не смеешь вспомнить днём.

Страх обращался в шаги. Синюхаев скрывался в тень.

Во снах голоса доносились из деревянной коробки, шашечная доска под ногами то опускалась, то поднималась, словно крылья гуся.

Он пытался кричать — но язык не слушался. Руки стали чужими.

Папа в детстве учил играть в шашки: «Нельзя ходить назад. Даже если больно. Вперёд. Всегда вперёд. А бить можно и нужно — и вперёд и назад».

Папа ставил на огонь свистящий чайник. Сначала сын проигрывал и смеялся. Папа говорил: «Проиграл — значит, научился». А теперь сын выигрывал. И плакал, жалел расстраивающегося папу.

Синюхаев повернулся на спину. Он спешил на бал дамок, но вместо этого вспомнил, как в детстве, когда проигрывал, папа не ругал, а расставлял шашки заново.

— Пап, а почему чёрные ходят первыми? — спросил он однажды.

— Потому что им нечего терять, — ответил папа, передвигая шашку. — А белые думают, что у них есть право.

— А дамка?

— Дамка — это не награда. Это когда ты дошёл до края и понял: назад дороги нет.

— А если я пройду в дамки — ты гордиться будешь?

Папа помолчал, глядя на доску: «Гордость — для тех, кто верит в правила. А ты станешь мужчиной и будешь играть по-своему. «Пройти в дамки» — значит пройти путь от мужчины к женщине, от подчинения — к свободе.»

— Как?

— Ты будешь ходить туда, где тебя не ждут.

— Кто такие шашки и дамки?

— Шашки — это мужчины, думающие, что они господа. Дамки, к которым все они стремятся, — это женщины у власти, свободные в своём движении.

3.2. Бал дамок

Синюхаев повернулся на бок.

В зале — три чёрные дамки: Сундукова, Жеребцофф, Шевалье. Стоят спиной к трону, будто на аукционе. Страх разлит, как кисель.

Три белые: Нелидова, Мария, Акулина — уставились в зеркало.

В зеркале не они, а он, Синюхаев.

Глаза у дам — пустые клетки. Стоят, ждут, когда кто-то сделает ход. Ждать умеют. У них большой опыт.

А он блуждал, не зная зачем.

Женщины вышли на сцену дамками на доске — всесильными, но не ведающими, что ими играют. Улыбки — маски, шаги — балетные, слова — стальные шапки.

Это был не бал, а спектакль под названием «Как убить... и не испачкать перчатки».

В Зимнем дворце от жары духота.

Страх, амбиции, пот, пудра и духи — всё смешалось.

Зеркала шептали: «Ты следующий». Люстры не светили, а давили приговорами.

Синюхаев стоял в дверном проеме, напрягаясь всем телом.

Ему было не жарко — страшно. Не за себя.

Все дамки улыбались, зная, что завтра могли умереть.

Акулина в простом сером платье презрительно огляделась и вышла, толкнув его плечом.

Шевалье наступила Синюхаеву на ногу каблуком — он едва сдержал стон. Она не извинилась, лишь скользнула кокетливым взглядом.

Мадам Жеребцофф нагло протиснулась, зацепив Синюхаева верхним бюстом

Сундукова прошелестела с подносом рюмок. Он потянул-

ся к ней, желая коснуться, но обнял только воздух.

Нелидова почему-то подмигнула Синюхаеву, криво улыбувшись. Он едва отшатнулся, чтобы не вдавила в стену.

Последней прошествовала Мария с гордо поднятой головой — он едва успел склониться перед императрицей.

Шевалье встала у колонны, рюмка в руке — словно скипетр.

Её лицо было напряжено, глаза — блестящие камни.

На шее — подарок Державина: изумрудное кольцо, отражающее чужую зависть.

Мадам Жеребцофф наблюдала за ней с рюмкой в руке, которую не собиралась пить. Она считала: если выпьет — придётся кланяться. А значит признавать, что у тебя есть шея, которую можно оседлать.

Она носила лишь два кольца — тяжёлых, как оковы, с розовыми турмалинами.

Но потом резко, будто казнила кого-то, опрокинула водку.

— Напрасное расточительство, — скривилась она, закусывая холодцом. — Заморские побрякушки. Взгляд скользнул по Шевалье и задержался на Сундуковой, и в уголках губ дрогнула едва заметная улыбка, предвещающая не бал, а бойню.

Фрейлина Нелидова скользнула вдоль стены чужой тенью.

Её глаза — узкие, блестящие — оценивали каждую брошь, каждый камень, каждое колечко.

Губы беззвучно шевелились: «Почему не у меня?».

Каждая женщина здесь была для неё врагом, каждое украшение — украденной возможностью.

Куранты пробили двенадцать.

— Прощайте, старый год и век, пусть будет новый человек... — начала читать Мария стих какого-то поэта Синюхаева.

Голос её дрожал от напряжения.

И в этот момент рука Шевалье дрогнула, рюмка качнулась.

— Что это тёмное на дне?! — голос разорвал тишину, как выстрел.

Шевалье не замерла. Медленно опустила рюмку. Повернула взгляд на Нелидову, потом на Марию. И улыбнулась — не злобно, ласково.

Как мать, видящая, как дочка делает первую глупость.

— Это не яд, — скривила губы Шевалье. — Это проверка. На дурачку!

Лицо исказилось. Сапфиры, казалось, потускнели.

— Это ты, дрянь! — закричала она Нелидовой. — Ты хотела меня отравить!

Поставив рюмку на стол, маленькая Шевалье бросилась вперед на неё.

Длинная Нелидова вскрикнула. Они сцепились. Шёлк рвался, волосы рассыпались, голоса слились в хриплый вой. Грация исчезла. Осталась лишь жажда уничтожить.

Мадам Жеребцофф и Сундукова бросились их разнимать. Синюхаев во сне почувствовал во рту вкус пудры и крови. Он стоял в стороне, а по его сапогам текли синие чернила, густые и липкие.

Мадам Жеребцофф сзади сжала плечи Шевалье за плечи, как мать.

Сундукова ухватила за руки Нелидовой, как дочь. Еле оттащили.

— Спокойствие, дамочки, — прозвенел голос императрицы. — Не время для паники.

Мария подошла к рюмке, достала лорнет.

Осторожно кончиком платка извлекла крошечную темную каплю.

Луна за окном открыла рот в ожидании.

— Это серёжка Сундуковой, — улыбнулась она. — Серебряный чижик. Вот забирай. И впредь обслуживай внимательнее и аккуратнее.

Тишина повисла петлей. Все смотрели на эту птичку — символ того, как легко мир рушится из-за ничего.

— Меньше украшений — меньше огорчений, — спокойно подытожила Мария.

Но Синюхаев заметил тень в глазах.

— А где его Величество? — спросила мадам Жеребцофф, вытирая лоб розовым платочком.

— Не здоров, — ответила Мария. — Лекарь его выхаживает.

— Выпьём за императорское здоровье, — предложила Нелидова, поправляя причёску.

— Многая лета, — добавила Шевалье.

— Враги России не дремлют, — ответила Мария, и в её голосе зазвучала сталь. — А он — один против всех. Против Англии, шепчущей в ухо лордам заговоры. Против Франции, рвущейся в Европу с гильотиной. Против собственных генералов, торгующих честью за стакан лафита. Но он — не сдаётся. Он — держит Россию на краю пропасти, чтобы она не рухнула в бездну революции и войны.

Все подняли рюмки, чокнулись и выпили.

Все, кроме той, что их подавала.

— Я не даю тебе выбора, поручик, — тихо сказала Сундукова, отойдя и глядя Синюхаеву прямо в глаза. — Я даю тебе шанс выжить в игре, где ставки — жизнь. Где проигравших стирают. Как того, кого не было.

Нелидова шагнула к нему — и вдруг споткнулась. О чёрную кошачью лапу, вытянутую из-под платья Сундуковой. Ни одна не обернулась. Но Синюхаев видел.

Из тени колонны выглянул элегантный лорд Чарльз и внимательно осмотрел дамок. Все четверо отвернулись и опустили глаза.

Из соседней комнаты донёсся мужской смех и обрывок фразы, ясный, как удар шашки по доске: «...Зубов сказал Беннигсену, что терпение лопнуло...».

Синюхаев перевернулся на правый бок (от подушки пах-

ло гречкой) и подумал, что дамки — больше, чем женщины. Они играли: улыбались — чтобы скрыть страх, плакали — чтобы спрятать злость. Но в отличие от шашек дамки далеко ходили и многих доставали. Дамки били чужих на любом расстоянии. Но стать дамкой можно, лишь пройдя всё поле, оставив за спиной горсть сбитых своих же шашек.

3.3. Игра теней

В кабинете лорда Чарльза было темно, шторы были плотно задёрнуты... На столе лежал указ Павла, подписанный кровью, и над ним витал запах гусиного пуха.

Свет от камина выхватывал лица.

Сигарный дым напоминал туман над болотом.

Часы начали бить двенадцать. Все замерли.

Высокий, с кожей цвета смолы и глазами, словно вырезанными из обсидиана, лорд Чарльз стоял у окна, спиной к залу. Его взгляд клинком пронзал тьму, угадывая невидимые нити. Его молчание было громче любого приказа, а улыбка — острее английской шашки.

Военный министр Аракчеев опрокинул шампанское одним глотком. Закусил пирожным, но не проглотил. Лицо напряглось вечным ожиданием выстрела.

Тайный советник Мелецкий стоял у стены, теребя длинный нос. Глаза бегали — он не смотрел на людей, он искал врага. В каждом движении — подозрение. В каждом звуке — сигнал.

Адъютант Бенкендорф, бледней бумаги, сидел в углу, вжавшись в стул. Пальцы сжимали бокал, будто последнюю опору.

Карлик Ваня, императорский шут, сидел в тени, поглаживая что-то за пазухой.

— А теперь за Новый год, пусть успехи принесёт! — Аракчеев поднял бокал, поднёс его к губам — и замер.

— Что это тёмное на дне?! — голос разорвал тишину, как выстрел. — Это не яд. Это проверка. На дурака.

Мелецкий шагнул вперёд: «Яд! Масонский знак! Заговор!». Бенкендорф выронил бокал. Он разбился, будто выстрел. Звон повис в воздухе приговором.

Ваня быстро подал замену и убрал осколки. Ни слова. Ни взгляда.

— Спокойствие, господа, — прогундосил лорд Чарльз. — Не время для паники.

— Измена! — заорал Аракчеев. — Это ты меня хотел отравить!

Он бросился на Мелецкого. Тайный советник достал кортик. Аракчеев схватил канделябр.

Они соединились в поединке — два механизма, запрограммированные на уничтожение.

Удары гремели. Противники хрипели загнанными тушканчиками.

Бенкендорф бросился между ними, обхватил Аракчеева за талию. Не из храбрости, а чтобы его заметили и запом-

нили.

Ваня вцепился в ногу Мелецкого. И растащили сражавшихся, как драчунов в трактире.

Лорд Чарльз поднял бокал. Мелецкий, тяжело дыша, выдохнул: «Так это символ! Красно-кровавый символ!».

Лорд Чарльз наклонился. Извлек предмет.

Маленький. Металлический. С крошечными деталями.

— Мой чижик! — вдруг пискнул Ваня. — Это моя птичка!

Он потянул за рукав лорда Чарльза.

— Простите. Уронил.

Лорд Чарльз повернул ключик в игрушке. Тонкий механизм заработал. Механическая птичка взмахнула крыльями — и запорхала под гатчинский мари.

Все замерли. Потом — рассмеялись. Сначала тихо. Потом — громко.

Даже Аракчеев захохотал и поперхнулся: «Чижик-пыжик... Птичка-невеличка... — пробормотал он. — Моя ошибка. Мои извинения».

Мелецкий подмигнул лорду Чарльзу: «Заговор... или игрушка. Порой грань тонка».

Бенкендорф вытер пот, взял конфету и протянул Ване.

— Расскажите-ка историю Вашего повышения, бывший поручик Бенкендорф? — спросил Мелецкий.

Бенкендорф улыбнулся и восторженно закивал, размахивая руками.

— Я тогда докладывал Его Величеству всё: количество военнослужащих, патрулей, больных. А вот задержанных по императорским указам оказалось столько много, что у меня не было последних точных сведений. Павел слушал внимательно. И вдруг спросил: «Кто под стражей?». Я растерялся. А потом, сам не знаю почему, сказал: «Я, Ваше Величество». И поклонился. А он: «Поднимитесь, полковник! От поручика до полковника — один шаг».

Все рассмеялись. Аракчеев хлопнул Мелецкого по плечу.

Бенкендорф потянул Ваню за ухо. Воздух стал легче. Тени ушли.

Эти влиятельные мужчины мнили себя центральными и белыми хозяевами жизни, но оставались для дам и для игроков простыми шахи, которые видят на шаг вперед.

Хоть власть их оставалась велика, они били через одну и считали ненужные им шахи с доски.

— А где его Величество? — спросил Мелецкий.

— Не здоров, — отвечал Бенкендорф. — Лекарь его выхаживает.

— Выпьем за здоровье всероссийского самодержца, — сказал лорд Чарльз, и в его голосе зазвучало нечто большее, чем тост.

Они чокнулись и проглотили шампанское.

Мелецкий прошептал: «Пусть девятнадцатый век будет милосерднее к России».

А его величество... наконец, обретёт покой».

3.4. Аракчеев против Синюхаева

Все вышли, Аракчеев остался.

— Докладывай, — сказал он, напоминая голосом скрипение ржавых петель. — Но не о пустяках. Я ненавижу пустяки. Они, как моль, проедают сукно империи.

Синюхаев в углу выдохнул и сказал первое, что пришло в голову, — не рапорт, а правду: «Я боюсь, что меня забудут. Или сотрут. И не знаю, что страшнее».

— Страх — это ресурс, поручик. Главное — направить его в нужное русло. Как воду на мельницу. Или на вражеские укрепления. Система не терпит пустоты. Но обожает призраков. Они безупречны. Не едят, не пьют, не требуют жалования. Не предают. Они просто исполняют приказ. Хочешь стать призраком, поручик?»

Синюхаев молча кивнул.

— Неверно. Ты уже им стал. Теперь нужно научиться этим пользоваться.

Аракчеев, морщась, помассировал левой рукой сердце под мундиром.

Кивнул, помрачнел, правой рукой достал пистолет, направил на Синюхаева и тщательно прицелился, зажмурил левый глаз.

— Ну что, невидимка, — пробасил он, — думал, спрячешься? Вот тебе сон.

Палец на курке указал вперёд и вернулся. Взгляд неотвратимый.

Синюхаев не зажмурился. Смотрел в тёмное отверстие, ожидая пулю, как чижика-пыжика от фотографа.

Ледяное дуло уперлось поручику в лоб. Синюхаев не мог пошевелиться, но опустил взгляд на ствол. Уголки его губ дёрнулись в чём-то похожем на улыбку.

Он знал: если Аракчеев выстрелит, не убьёт. Признается, что боится.

На столе между ними появился чёрный кот. Он не смотрел ни на пистолет, ни на Синюхаева. Он смотрел на Аракчеева — прямо в ту точку, где у человека должно быть сердце, но давно уже остался только устав.

Аракчеев дёрнулся, медленно опустил пистолет и отвернулся, потому что впервые в жизни проиграл без боя.

На столе появился гусь. Он клюнул шампанское из рюмки Аракчеева. «Ты считаешь деньги? Я считаю души. Твоя — на моём счету.»

— Гусь хлопает крыльями — к морозу, — вспомнил народную примету Синюхаев.

Аракчеев посмотрел на гуся и тихо спросил: «Вы думаете, я люблю считать пуговицы? Ненавижу. Но таков способ выжить. В этой системе. Где каждый — волком готов сожрать другого. Я выбираю порядок. Потому что хаос... хаос нас всех съест. Даже меня.»

Военный министр резко обернулся и схватил поручика за

рукав: «Завтра в три ночи проверь третий батальон. Найди генерала Стоянова. Он должен быть мёртв. Или жив. Я не знаю. Но ты доложишь, что он есть. Или нет. И я тебе поверю».

Синюхаев молча кивнул. Вот оно. Первый приказ человеку, которого нет.

3.5. Почти пробуждение

Синюхаев вырвался из сна, задыхаясь. На языке – имя «Кижэ». За окном – тьма. Игра не ждёт.

Эликсир горел не в желудке — он горел в памяти. На лице — пот. В горле — привкус железа. Сон кончился. А игра — нет.

Синюхаев хотел сказать Аракчееву, тому, что во сне: «Ты боишься меня. Потому что я — твоя ошибка. Ошибка, которая имеет имя и смотрит тебе в глаза».

Синюхаев сел на кровати и сглотнул, будто в горле застрял кусок хлеба. Пальцы впились в край стола.

— Я просто боюсь сказать «нет». Но сегодня я скажу.

И голос дрогнул — не от страха.

От усталости быть собой.

Он снова лёг и заснул.

В каждом сне скрывался один и тот же человек — его папа. Тенью за портретом.

Папа положил руку на плечо Павла на портрете.

Пальцы дрожали — не от страха. От подагры. Стареют даже тени.

Лицо Павла растаяло, словно восковое. Под ним проявилась кошачья морда.

И в каждом сне — одно и то же: власть рушится не из-за пустяка.

Не из-за чижика-пыжика. А из-за того, кто его подобрал.

А за всем этим — болезнь. Неважное самочувствие. Лекарь, который «выхаживает». Его снадобья пахли пеплом и луной. А в банке с мазью — коготь чёрного кота. Для памяти.

Синюхаев проснулся с криком и вкусом пудры на губах, смешанным с кровью. Встал. Подошёл к окну. Мосты вздымались рёбрами древнего льва.

Но Синюхаев знал, что сны — это приказы. От того, кто управляет игрой. И ты — его любимая шашка. А шашки не выбирают. Они остаются теми же. Или падают. Или прорываются в дамки. Сны — это предупреждение. Или — приглашение.

А кот — тот, кто решает, чей приказ выполнить.

Сны не уходили. Они оставались отпечатками пальцев на стекле.

Он пил эликсир, думая, что делает выбор. Но выбор был иллюзией. Ему лишь позволили почувствовать вкус свободы

воли, прежде чем зачихнуть в пасть машины. Самый искусный игрок — тот, кто заставляет шашку поверить, что это она решает исход игры.

Новый сон нахлынул новой волной, смывая остатки реальности.

Синюхаев не спал — он видел.

Перед ним, выжженная на внутреннем веке, возникла карта его судьбы.

Матрица ШУРА. Четыре угла.

В одном лежал его шарф, извивающийся змейй.

В другом — зловеще поблёскивала табакерка Ржевского, и с каждым её вздохом по комнате разливался запах серы.

В третьем — покоилась шашка Голицына, и по лезвию струилась кровь.

А в четвёртом — лежал перстень Эмануэля, расчётливо указывающий путь в никуда.

«Примени это, — настаивал голос папы. — Не в политике. В жизни. И ты увидишь ходы, которых не видят другие».

Синюхаев проснулся с этим знанием, выжженным в сознании.

Это был не бред. Это была инструкция к реальности.

На подушке — три кошачьих волоса. Отметина. Он знал: кот видел всё.

Сны не снятся. Их назначают. И он — тот, кого назначили.

Оказался сон тревожным?
Там пророчества не жди.
Сон – эмоции о прошлом.
Разум будет впереди!

Жизнь – коварные качели.
Вправо-влево, после вниз...
Полетели-обомлели,
Но подарок – это жизнь!

Шанс увидеть скрытые связи власти оказался проклятием.

Угроза утонуть в мире грёз стала реальностью.
Ресурс — эликсир — кончался.
Альтернатива — отвергнуть сны — уже не существовала.

ГЛАВА 4. ЧЕТЫРЕ ПОРУЧИКА И НЕ ТОЛЬКО

Шашки расставлены

Локация: Офицерский клуб.

Свидетель: Шашка в бронзовых ножнах.

О чём эта глава? Они пьют за дружбу, честь и Россию.

К утру один будет мёртв, другой — в каземате, третий — предателем.

А четвертый станет призраком.

4.1. Офицеры россияне

За столом в липких кругах от прошлых стаканов пили четверо. Сослуживцы.

Причёски аккуратные. Мундиры безупречные. Эполеты блестящие. Сапоги вычищенные. Шпоры звонкие.

Голицын пил, потому что трезвым он падал лицом в салат. Ржевский ржал, потому что если не ржать — завоешь.

Эмануэль цитировал Вольтера с таким видом, будто тот был его двоюродным дядей.

Синюхаев молча теребил пуговицу и думал: «Господи, за что мне эти друзья?»

Каждый прятал страх по-своему. А Синюхаев прятал даже себя.

Офицерский клуб вдохнул портвейн, выдохнул пот. В спёртом воздухе висели невысказанные тосты, несбывшиеся амбиции, приказы и слёзы от незаслуженных обид.

Синюхаев в очках и с шарфом, обмотанным вокруг шеи — один конец сзади, другой спереди, произнёс тихо и поправил очки, но привстав: «Господа, не успели близко познакомиться. Мой четвёртый по очереди тост за вновь прибывших! Рад приветствовать. Стивен, Рыбин и Азанчеев куда-то назначены. Я тут совсем один без ровесников».

Голицын, статный блондин, с усами, отполированными до блеска, бросил взгляд на портрет Павла I, висевший над камином, и усмехнулся:

— А ты, Синюхаев, храбрец. Носить очки, когда их запретил сам... — он кивнул на Павла, чьё лицо выражало скорее раздражение от несварения, чем величие от возвышения, — и не боишься, что он вдруг оживёт и прикажет разжаловать за нарушение эстетического устава?

— Только в помещениях, — оправдался Синюхаев, снимая очки и пряча их в карман, — На улицах снимаю.

— Ты смотришь сквозь стекло. — усмехнулся Голицын. — Искажаешь действительность.

Эмануэль улыбнулся. Зубы идеальны. Усы — тоже.

— Некоторые подозревают, что у меня усы не растут. Как у Синюхаева или Ржевского.

Он коснулся пальцем перстня с чёрным обсидианом.

— У меня всё очень кучеряво растёт, — хохотнул рыжий Ржевский, наливая себе вина, — Но брею дважды в день. Чтоб губки дамские не уколоть. А то вдруг скажут: «О, какой колючий любовник! Могу даже шашкой побрить!».

Он потрогал острое лезвие на боку, провёл пальцем по шраму на шее и добавил: «Это отметина не от шашки, а от отцовского ремня. Думал, стану генералом. А стал шутом. Каждое утро, когда бреюсь — думаю: «Если бы тогда не сбежал, был бы мёртв. Или свободен. Выбрал смех. Потому что крик уже не слышат.».

— А почему у тебя, Ржевский, шашка без ножен? — спросил Эмануэль, указывая на пояс, — Потерял или просто любишь, когда лезвие голое? Как совесть, наверное.

— Потому что я всегда готов! — Ржевский смахнул муху с острия. — К бою. К любви. К смерти. Особенно — к смерти. Как угроза, что не прячется.

— А Синюхаев всегда готов выйти на улицу, — пошутил Эмануэль — Да сними уже, неужели не отогрелся ещё? Да, и кто так завязывает? Дай!

Синюхаев размотал и передал в руки соседа любимый предмет своего гардероба.

Эмануэль сложил шарф пополам, накинул на шею товарища, оставляя концы в своих руках, продел концы в петлю и элегантно затянул узел.

— Это модный французский узел! Гарантирую, все фрей-

лины будут бегать за тобой!

— А у меня, между прочим, последний китель от лучшего портного в городе, — неожиданно похвастался Голицын. — Дорого стоил. Хорошо жить, когда есть ресурс. Точка опоры.

— Хватит болтать про тряпки, — оборвал Ржевский, уронив стакан. — Расскажи лучше, как ты вчера от Аракчеева отбрехался. Вот где сюжет!

Голицын отмахнулся от предложения.

— А я получил приглашение на бал к самому... — Эмануэль подмигнул портрету. Павел удивился, — Жизнь прекрасна!

— От — сумы и тюрьмы не зарекайся, — перебил Голицын, — но надо получать всё от жизни здесь и сейчас!

4.2. Явление Матрицы

Эмануэль выдохнул дым, оглядевшись по сторонам: «Четыре угла. Одна клетка.»

— Мы — четыре стихии, — выпалил Синюхаев, подогретый вином и тоской. — Я — земля, вечно в грязи и раздумьях. Голицын — воздух, потому что ветреный и пустой. Ржевский — огонь, чтоб его потушило. А Эмануэль — вода, холодная и не поймешь, насколько глубокая.

Меж чисел волшебных есть цифра «четыре» —

Квадратом разумная жизнь создана.

Секретов осталось достаточно в мире.

Есть, как поры года, — Души времена.

Рецепты успехов подскажет наука,
Пусть разные люди подружатся вновь!
Ах, осень – прощанье, зимою – разлука,
Весна – это встреча, а лето – любовь!

Ржевский фыркнул, и из его ноздрей вырвалось две струйки дыма, будто он и впрямь был огнедышащим: «Ну, Синюхаев, иди ты... к Державину со своими стихиями! Может, он тебя заметит! И благословит!»

— Мы четыре мушкетёра, — погладил усики Эмануэль, чокнулся с Синюхаевым и выпил залпом. — Один за всех, и пусть все подавятся. Особенно если «все» — это Ржевский с его шашкой. И Голицын с его вечной бутылкой.

— Один за всех, и все за одного! — подхватил Ржевский, с размаху хлопая Синюхаева по спине так, что тот едва не откусил себе язык. — Пока один не сядет в тюрьму, император всех не разжалует!

Все, не сговариваясь, посмотрели на портрет, голова на котором откинулась и ноздри расширились. Павел собирался чихнуть, но помотал головой и снова застыл.

Ржевский мрачно хмыкнул: «Пока одного не утопят, другого — не повысят». Потом хлопнул Эмануэля по спине, тот едва не уронил стакан. Все замолчали на секунду, затем фыркнули. Как кони – нервно и недолго.

Из-под стола выкатился чёрный кот. Посмотрел на каж-

дого и бросил к ногам Эмануэля дохлую крысу.

Ржевский гавкнул смехом: «Вот оно, истинное братство! Поделим новую закуску!»

— Чёрт, Ржевский, не бей посуду! — фыркнул Эмануэль, отбрасывая ногой крысу в угол и поправляя мундир. — Твоя удасть дорого обходится.

— Зато весело! — не унимался Ржевский и хитро прищурился. — Скука — вот главный враг России! Лучше разбить стакан, чем свою жизнь.

Голицын швырнул стакан об пол. Осколки брызнули вином.

— Один за всех, — прошипел он, — и пусть все подавят-ся! Особенно если «все» — это ты, Синюхаев, с твоими стихами про бессмертие. Ты хоть раз в жизни целовал кого-нибудь? Или только перо слюнявишь?

— А может, именно стихоплёты и видят то, что вы, солдафоны, боитесь разглядеть? — сорвалось у Синюхаева.

— Ты думаешь, мы — братья? — Ржевский опрокинул стул, прервав тишину. — Мы — пьяные тени на стене. Нас видят, но не замечают. Мы — шашки. Одна доска. Один конец.

— Или — начало, — тихо добавил Синюхаев, глядя на кота за окном.

— Ты, Синюхаев, с твоими стихами про бессмертие подставил нас! — хмыкнул Эмануэль.

— Я лишь шашка, которую ещё не съели, — огрызнулся

Синюхаев. — Но тоже мечтаю пройти в дамки.

— Дамки? — фыркнул Голицын. — Это женщины у трона. А мы — пушечное мясо в бархатных перчатках. Нас запирают и снимают без шума.

— Ржевский с шашкой, Голицын с бутылкой, Синюхаев с пером, — хмыкнул Эмануэль и развёл руками. — А я «один» — с пустым брюхом?

Голицын уронил графин. Звон разнёсся по залу первым громом перед бурей. Ржевский схватил графин — и швырнул его в камин. Вино вспыхнуло грозovým цветком. Все замерли. Потом — рассмеялись. Громко, по-мальчишески. Но смех оборвался, когда из огня вылетела механическая птичка и запела «Чижик-пыжик».

Ржевский поднялся, стукнул по столу и сел.

— Пей, пока не приказали не пить, — сказал Голицын, опрокидывая стакан и вытирая рукавом губы. — Завтра — похороны. Или ссылка. Кто их, чёрт возьми, разберёт. Один за всех, а все — за бутылку. Потому что в Питере дружбу пропить, а не говорить.

Он пролил вино себе на руку. И одёрнул манжет: «Вот гляньте имя. Выжженно. «Анна». Первая жена. Умерла в родах год назад. Я купил бутылку. И с тех пор каждую ночь — тост за неё. Молча. Один. Только боль напоминает, что я жив.»

Ржевский налил себе, выпил и неуместно хохотнул, но быстро заткнулся, осознав сказанное Голицыным. Быстро

прикрыл кистью лоб: «Смейся, пока зубы не выбили. Смех — последняя броня. Особенно если ты...».

Он не договорил, ударил ладонью по столу и захохотал так, что люстра качнулась. Остальные поддержали — кто ржал, кто всхлипывал, кто просто тряс плечами, делая вид, что ему весело. Потому что если не смеяться над тем, что тебя завтра, возможно, сошлют в Сибирь, останется только лезть в петлю. А петля, как известно, дисциплину не улучшает.

Синюхаев крепко вцепился за стол, чтобы не упасть от головокружения.

В детстве, когда он плакал от страха перед школой, папа нарисовал на запотевшем окне квадрат и разделил его прямыми на 4 части.

«Вот твоя доска, сынок. Каждый угол — твоя сила. Ты не слаб. Ты просто не знаешь, какая из сил внутри тебя сейчас нужна».

— А почему четыре? — спросил мальчик.

— Потому что, в жизни — четыре главных темы. Запомни:

Шанс — что дано.

Угроза — чего боишься.

Ресурсы — что можешь.

Альтернатива — что выберешь.

За спиной папы тикали старинные часы.

— В часах — двенадцать делений, столько шашек на доске, — сказал папа, глядя на сына. — В сутках — утро, день, вечер и ночь. В году четыре сезона.

Синюхаев ещё не понимал, что эти четыре клетки станут его судьбой. Что каждая — не просто угол, а ловушка, из которой можно выбраться только ценой собственной тени.

В голове крутились вопросы: «Кто я? Где я? Куда бежать?».

Ответы не приходили. Но он знал: если не ответит — умрёт.

Синюхаев очнулся и посмотрел вокруг.

Ржевский что-то рассказывал Эмануэлю и хохотал, точно жизнь — это анекдот, который сам придумал.

Голицын пил, будто вино — это воздух. Потому что в армии нельзя было пить воду — это было «не по уставу».

Синюхаев посмотрел на сослуживцев, как на шашки, которые скоро начнут бить друг друга. Выпил. Поставил стакан на стол в центр.

— Знаете, господа, — сказал он непривычно твёрдо, — мой папа научил меня одному инструменту — «Матрица ШУРА».

Ржевский фыркнул: «Звучит, как высокая математика. Куда уж нам такое понять!».

— Это способ увидеть всё, — не смутившись, продолжил Синюхаев. — Вся жизнь укладывается в четыре угла.

Он макнул палец в вино и начертил на столе квадрат, разделённый крестом на четыре клетки. В каждой поставил букву: Ш, У, Р, А. — Смотрите. Четыре вещи, которые есть у каждого. Шанс — то, за что стоит рискнуть. Угроза — то, от чего волосы встают дыбом. Ресурс — то, что у тебя в кулаке, даже когда пусто в кармане. Альтернатива — то, что останется, когда всё рухнет. Вся жизнь помещается в этот квадрат. Всё остальное — суета и пыль.

Все молчали, глядя на влажный рисунок.

— И что? — нарушив тишину, хрипло спросил Голицын. — Как это применить-то?

Синюхаев пожал плечами.

— Я и сам не знаю. Папа говорил: когда не знаешь, что делать, нарисуй эти четыре клетки. Иногда помогает. Иногда — нет. — Он улыбнулся криво, почти виновато. — Но дышать после этого легче.

4.3. Разогрев

— Или убить, — дополнил Голицын.

Ржевский фыркнул, тыча пальцем в рисунок: «Эти квадратики не спасут ни от пули, ни от стали! Только бумага прощает ошибки. А жизнь — она на деньги ставит».

Эмануэль внимательно посмотрел на Синюхаева, как впервые видел его.

— Поручик, а ты... философ.

— Нет, — покачал головой Синюхаев. — Я шашка, которая пытается понять, кто мной управляет.

— В романе Дюма играли в шахматы... — начал Эмануэль.

— Не упоминай ничего иностранного! — рявкнул Голицын. — Так и до революции недалёко.

— Да пошли вы со своей революцией! — хрипло выдал Ржевский, опрокидывая стакан. — Вчера за «Чижика-пыжика» чуть не в кандалы засадили. А я просто напел, как мать пела. Неужто и память теперь под арест? — Он мотнул головой и налил себе ещё, проливая вино на стол.

— Такое заявление, — парировал Эмануэль, затягиваясь трубкой, — раньше при дворе было похлеще любого доноса. Вчера Павел ставил белую шашку на поле Наполеона. Сегодня — бьёт её чёрной.

— Враги России не дремлют! — вдруг выкрикнул Голицын, хлопнув кулаком по столу. — А мы тут карты раскладываем, но вдруг завтра не будет война! Павел хоть и чудак, но защитник. Он не пускает чужое в наше. Не пускает ложь в правду. Не пускает хаос в нашу систему!

— Защитник? — фыркнул Ржевский. — Гусь громко крикает, чтобы скрыть, что боится собственной тени. Настоящая сила молчалива. А он то туда, то сюда!

— Потому что играет против себя, — улыбнулся Эмануэль.

— А кто выигрывает?

— Тот, кто стоит за спиной. И молчит. А сейчас Россия с Францией заключили союз. Потому что императору нельзя быть последовательным. Последовательность — для игры по правилам, — отрезал Голицын.

— Папа говорил, что англичане бесятся, хотели столкнуть Павла с Наполеоном! — сказал тихо Синюхаев, сидевший на углу, словно боясь, что его заметят:

— Вчера он пил за Бонапарта, сегодня приказал сжечь все французские книги. Завтра, может, прикажет сжечь и тех, кто читал.

Синюхаев вздохнул:

— Говорят, жизнь — это книга. Но кто её прочтёт и что мы напишем?

Ржевский вскочил на стул, бутылка с грохотом покатила по полу.

— Книгу о нашем ураганном веселье! А если бы мы были сюжетами, я бы, наверное, был главной интригой для дам и непременно источником скандалов! Ха-ха-ха! Поручик Голицын, налейте вина!

Голицын покачал головой: «Тебе бы лишь забавы. Настоящая жизнь требует подвигов, служения Отечеству. Только в этом смысл.»

Все выпили молча и не чокаясь.

— А ты, Синюхаев, — спросил Эмануэль, не поднимая глаз от стакана, — если бы знал, что твой ход убьёт друга...

всё равно пошёл бы?

Синюхаев отвернулся.

— Вот и ответ, — кивнул Эмануэль. — Ты уже пошёл. А если наш долг — искать не только служение, но и смысл каждого мгновения? Мы листья на ветру. Ищем, не находим, пока не упадём...

Ржевский вскочил, схватил бутылку и швырнул её об пол. Вино хлынуло кровью.

Осколки стекла разлетелись мечтами, раздробленными системой, которая не терпит ни поэзии, ни правды.

— Трещишь, Эмануэль, как сухарь в супе, — хрипло рассмеялся Ржевский. — А сам-то от этого ветра спрятался в теплую конюшню, к бабам да вину. Мы все тут листья, которым приказано держаться за ветку. Пока император не дёрнет.

Голицын выхватил шашку — лезвие блеснуло в свете свечей: «Ты первый враг государства российского!».

Синюхаев бросился между ними, крича: «Прекратите!».

Но споткнулся, руки взметнулись — и очки слетели с головы.

Стекла разлетелись с тихим звоном. Все замерли.

Синюхаев медленно опустился на колени. Поднял оправу дрожащей рукой. Без очков мир стал размытым, страшным, настоящим.

Голицын задвинул шашку в ножны и махнул рукой.

Эмануэль снял перстень с мизинца.

— Вот тут выбит год 1796. Когда отец повесился за долги. Я не верю в смысл. Каждый раз, когда говорю красиво — я лгу. Чтобы не слышать — внутри что-то каменеет. Становлю камнем. И скоро брошусь в воду. Но пока держусь. Падать — стыдно. Не верю я ни в какие квадраты. Но кольцо возьми. Вдруг пригодится.

Синюхаев вздохнул и сморщил нос.

— Это не перстень, — сказал Эмануэль. — Это мой последний ход. Или оставь мне — и умри со мной.

Ржевский рассмеялся:

— Эмануэль, ты со своей философией утонул в чёрной речке. А мы с Голицыным останемся на поверхности, ведь вам, одиночкам, не хватает смелости шагнуть вперёд.

Ржевский вскочил на стол с таким грохотом, что задрожали стёкла люстры. Опрокинутая бутылка покатила по полу, оставляя за собой кровавый след от вина.

— Мы сидим на пороховой бочке. И фитиль уже горит! Эгей!

В этот миг чёрный кот прыгнул и сбил тяжелый подсвечник на пол. Горящие свечи упали в лужу вина. Вспыхнул огонь, синий и ядовитый. Все замерли, отшатнувшись от пожара. Синюхаев подошёл и сапогами затоптал пламя.

— Судьбу нельзя пускать на шутки, — отрезал Голицын. — Мы — опора державы, а не шуты. Наше призвание — жертвовать собой ради Родины!

— Прекрасная мысль, — холодно заметил Эмануэль. —

Жаль, что те, кто призывает к жертве, редко горят желанием присоединиться.

— Ну, от меня ровным счётом ничего не зависит, — пробормотал Синюхаев.

— Каждый способен всё изменить! — вскочил Голицын.
— Кто, если не ты?

— Каждый ищет свою правду, — пробормотал про себя Синюхаев. — Лучше быть непризнанным гением, чем показным шутом на показ или гордым патриотом.

Ржевский поднял стакан: «За нас, отважных! За веселье, это суть жизни! Да пребудет с нами удача... хоть иногда!»

4.3. Платёжное требование

Из клубов дыма появился ротмистр Шляпенко — человек с лицом, будто высеченным из скалы, и усами-змеями, обнимающими подбородок.

Он оглядел поручиков неодобрительно и прорычал: «Ну что, кони пьяные? Забрели в овсяный амбар? Хвосты вам в глотки. Заведение не благотворительное. Вот счёт. Можно больше не ржать.»

Бумага медленно опустилась перед Ржевским.

Синюхаев побледнел. Ржевский замер, улыбка его погасла.

— Ах, взыскание всегда не вовремя! Неужто мир рухнет, если мы ещё часок помечтаем?

— Недоразумение! — вскинулся Голицын. — Мы офице-

ры, а не торговцы! Это перебор! Это оскорбляет наше достоинство!

Эмануэль, изучая счёт, произнёс: «Боженька пошутил, а Шляпенко посчитал!».

— Ладно, — скривился Ржевский, — выкладываем, что есть. Эмануэль, посчитай.

Монеты звякнули. Не деньгами, а пульками в барабане.

Каждый посмотрел на счёт, ровно на врага.

Голицын — напряжённо. Ржевский — зло. Синюхаев — испуганно. Эмануэль — философски. Но это был не счёт. Это был поединок без шашек. На выживание.

— Мерси, мерси, мерси, — зачастил Эмануэль, перебирая и укладывая монеты. Одна упала. Зазвенела. Все замирали. Счетовод поднял её, обдул от пыли и положил на стол.

Он считал монеты, словно дни до смерти.

И карандашом что-то помечал на обратной стороне бумаги.

Остальные терпеливо ждали.

В итоге кивнул и заключил: «Се манифик! Тютелька в тютельку!».

Эмануэль взял карандаш.

Нарисовал квадрат из четырех квадратов: Шанс. Угроза. Ресурс. Альтернатива.

Синюхаев молчал. Он смотрел на линии. На цифры.

«Число 4 — символ завершённости и ловушки, — прозвучал в его голове голос папы. — Павел правил 4 года, 4 месяца

и 4 дня — его квадрат. Четыре — это конец и начало».

И вдруг понял: это не математика. Это приговор. За окном, на подоконнике, неподвижно сидел чёрный кот. Только хвост — дрогнул. Один раз.

— Ура? — спросил Синюхаев, глядя на Эмануэля, который смотрел в будущее — туда, куда им больше не суждено было ступить вместе.

Эмануэль положил руку на сердце. — Счёт полный. А душа — пуста.

— Ура! — воскликнул Ржевский. — Раз оплачено — допьем и поклянемся в вечной дружбе!

— И на верность императору, — буркнул Голицын.

Они обнялись. Братья по несчастью. Они не знали, что смерть уже здесь. Через час один будет мёртв. Другой — в каземате. Третий — предателем. А четвёртый... станет призраком.

В этот момент дверь клуба распахнулась, и в проёме появился силуэт женщины в светлом и прозрачном. Она мельком взглянула на Синюхаева, и её губы тронула едва заметная загадочная улыбка, после чего она исчезла в темноте улицы. Он почувствовал, что сердце пропустило удар. Неужели Сундукова?

4.4. Игроки

Синюхаев посмотрел по сторонам, встал и подошёл к самовару, налил себе горячий чай.

У дальнего окна за отдельным столиком над шашечной доской склонились двое: маленький, сухой Суворов в старом мундире и высокий лорд Чарльз в безупречном фраке. Они играли.

— Ваш ход, грандмастер, — сказал Суворов, глядя в окно.

— Вы думаете, Россия выстоит? — прогундосил лорд Чарльз, передвигая чёрную шашку.

— Россия вечна.

— А если ваш император доведёт её до революции?

— Революция ещё в пелёнках.

— Ваша Россия, князь, — сказал лорд Чарльз, — как дикий мёд: соберёшь — и не знаешь, ужалит он или исцелит. А Европа — рафинад. Предсказуемо, приторно, скучно.

Суворов хмыкнул: «Мёд, милорд, хоть и дикий, — свой. А ваш рафинад — он чужой, и руки к нему тянутся чужие».

Синюхаев, проходя мимо с кружкой чая, замер. Он почувствовал: за этими словами — не игра. За ними — судьба.

— Вы играете без принципов, сударь. Вы готовы к войне, — усмехнулся лорд Чарльз премиллой улыбкой дипломата.

— Принципы пишут выигравшие, милорд. А я же не проиграл. Наши солдаты возле пока ещё британской Индии помоют сапоги в Индийском океане. Русские никогда не сдаются! — ответил Суворов с улыбкой победителя.

— Но иногда продаются, — вырвалось у Синюхаева, потому что он был поэтом.

И тогда оба игрока переглянулись, повернулись и посмот-

рели прямо на него как на пустую шашку в углу доски.

Синюхаев вернулся к своим собутыльникам. В дыму возле лорда Чарльза он заметил костлявого Беннигсена с лицом, напоминавшим наконечник копья из старого дерева. Его безразличный взгляд скользнул по Синюхаеву, задержался не на лице, а рядом, будто он видел не поручика, а его будущую тень, — и так же бесстрастно отвел в сторону. В этой бесстрастности было больше угрозы, чем во всей ярости Ржевского.

— Он не ищет друзей, — мелькнуло у Синюхаева. — Он ищет инструменты. И что-то нашёл.

4.5. Поединок

Ржевский, полубоком присев на стол, начал:

— Месяц назад гусары отдыхали у помещика Яшвиля, у которого не оказалось сена. Нашли торговца. Прибежали к ротмистру Шляпенко — он играл в карты с хозяином. Приказал забрать сено силой. Пошутил: таких торговцев — на виселицу. На следующий день — сено взяли, торговца повесили. Шляпенко в панике побежал к Аракчееву. Дело дошло до самого... — он кивнул на портрет.

Павел I кивнул в ответ.

— Император разжаловал его в рядовые. Но за хорошую дисциплину гусар — повысил. Теперь он здесь руководит. Жизнь — пьяный прапорщик на параде.

Голицын налил, поручики чокнулись и выпили.

— Друзья — это не те, кто пьёт с тобой, когда ты упал. Это те, кто пьёт за тебя, когда ты поднялся, — заключил Синюхаев.

— А я хочу быть генералом! — признался Голицын.

— И будешь! — подхватил Эмануэль. — А вот Синюхаеву генералом никогда не стать.

— Почему? — обиделся тот.

— Генерал — личность. А у тебя нет ни достоинств, ни недостатков. Моя слабость — еда, Голицына — выпивка, Ржевского — женщины. А ты? Тебя просто... нет!

— Клянусь, я стану генералом, чего бы мне это ни стоило! — вскочил Синюхаев. — И завтра назначу свидание с фрейлиной Сундуковой — чистым и невинным созданием. Я уже написал ей записку.

— Ну, ты просто ещё не имел чести убедиться в отсутствии чести фрейлины Сундуковой, — ухмыльнулся Ржевский.

— Да как ты можешь?!

— Могу очень много раз. Если бы я был султан, у меня был бы гарем. Один гарем — одна любовь! А так — довольствуюсь тем, что дают!

— Но ты же не знаешь Сундуковой!

— Голубчик, я знаю женщин. Все они... — Ржевский сделал паузу, — не такие разные, как о них думают мужчины. И если захочу, пройду к любой дамке.

— Нет! — Синюхаев схватил его за грудки.

Ржевский оттолкнул противника и, тыча в Синюхаева окровавленным обломком стекла от разбитой бутылки, прошипел: «Ты, Синюхаев, не гений. Ты — пшик.».

Синюхаев не произнёс ни слова. Он выплеснул остатки вина из своего стакана в лицо Ржевскому. В комнате повисла театральная пауза.

— Я тебе морду набью! — зарычал Ржевский, бросаясь в схватку.

Удар. Мимо. Ещё удар. Они сцепились, повалились на липкий от вина пол. Синюхаев, захлёбываясь яростью, впился пальцами в золотой эполет Ржевского, чувствуя, как ткань рвётся с мясом. — Пёс! — кто-то хрипел прямо в ухо. Возможно, он сам.

Стул с грохотом опрокинулся. Синюхаев пытался вырваться, его пальцы вцепились в эполет Ржевского. Тот пытался соперника ударить в лицо. Эмануэль и Голицын еле разняли дерущихся, обтрёпав мундиры и души.

Ржевский хрипло рассмеялся, вытирая окровавленный подбородок: « Доволен?».

Павел I смотрел с портрета с отеческим осуждением.

— Вот и цена нашим высоким идеалам. — произнёс, отряхиваясь, Голицын, — Спорим о смысле бытия, а потом сцепляемся из-за первой попавшейся фрейлины.

— Она не первая попавшаяся! Она единственная и неповторимая, — буркнул Синюхаев.

— Я передам записку завтра утром, — продолжил Голицын, — Слово офицера. Синюхаев, пусть тебе повезёт. Не в таком растрёпанном виде надо приглашать. Мы должны помнить о гордости. Нас, таких разных, свела вместе Россия. И это сильнее любой ссоры. Это наше место.

— Место потеряно, — вздохнул Эмануэль, — у современного человека нет родины.

— Как ты смеешь?! — схватил Эмануэля за грудки Голицын. — А кто же мы тогда?!

— Случайные люди в случайном месте, — ещё глубже вздохнул Эмануэль и мягко снял с себя руки Голицына.

— Все иностранцы — враги России!

— Да что ты, Голицын! — побледнел Синюхаев.

— А кто так не считает — предатель! — возмутился Голицын.

Ржевский потянулся к нему с объятиями, но тот отскочил и опрокинул стол с недопитым и недоеденным. Грохот разнёсся по залу.

— О нет! — вскочил Эмануэль, отбросив стул.

Руки Голицына и Эмануэля выхватили пистолеты. Разбежались по углам.

Два выстрела слились в один. С потолка посыпалась штукатурка. В зале запахло порохом и испуганным потом.

Шляпенко ворвался, сгрёб деньги, оглядел разгром и рывкнул: «Это я вам потом ещё посчитаю. Пустили коней в казарму! Стремена перепутали!».

Он направился к выходу.

Эмануэль вдруг схватился за сердце: «Ох ты! Я ранен. Было забавно, даже не почувствовал».

И неловко упал боком.

Он не шевелился. Но распахнутые глаза смотрели в будущее.

Ржевский упал на колени рядом и рухнул к нему на грудь.

— Да он мёртв! Не дышит! Сердце не бьётся!! — Он приподнялся, схватил безвольную руку Эмануэля и отпустил её. — Друг! Бедный Эмик! За что?

— Надо вызвать лекаря, — прошептал Синюхаев.

— Я всё понял, — вскочил и вскричал Ржевский. — Он мёртв. Я — сын лекаря.

— Это я сын лекаря, извините, — промямлил Синюхаев.

— Ты не в себе. Ты убийца, — подвёл итог Голицын.

Кот подошёл к неподвижному Эмануэлю и ткнулся мордой в руку.

Затем повернул голову к Синюхаеву. Будто говорил: «Не верь».

Кот смотрел на Синюхаева — и в его глазах отразилось будущее. Не его. Не Павла. Не России. Будущее игры.

Шляпенко, стоя у двери, крикнул в темноту: «Петька, Пашка! Геть сюда!».

Два солдата материализовались у трупа. Они появлялись всегда парой, напоминая два резца в одной пасти. Движения их зеркалили, словно они были не людьми, а единым меха-

низмом для переноски приказов и тел.

— Этого — в холодную, — приказал Шляпенко, указывая на Синюхаева.

— А как же труп? — спросил Ржевский.

— Живой может сбежать. Мёртвый — нет. Вот уже ко-нюшня в огне... и никакого овса не хватит, чтоб это потушить. Мы в таком дерьме, что и копытом не отмахаться.

Он направился к выходу: «Пойду писать доклад военному министру».

Синюхаев закрыл глаза. В ушах — только звон разбитого стекла и смех Ржевского.

Звук его прежней жизни, разлетающейся на осколки.

Он закрыл глаза. И увидел: четыре пути. Один — его.

За окном заиграла гармонь. Молодая женщина жалобно запела:

«Не печалься, мой поручик, что не трогал дамских ручек!». И засмеялась колокольчиком.

— Кто из нас будет первым? — спросил в воздух Голицын. — Тот, кого уже выбрали.

Когда его вывели на морозный воздух, Синюхаев обернулся. В окне клуба, за залитыми светом стёклами, на него смотрели Голицын и Ржевский.

Показалось, что за ними прячется Эмануэль.

Шанс оказаться среди своих обернулся ловушкой.

Угроза быть втянутым в опасную игру сбылась.

Ресурс — братство — рассыпалось в драке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.